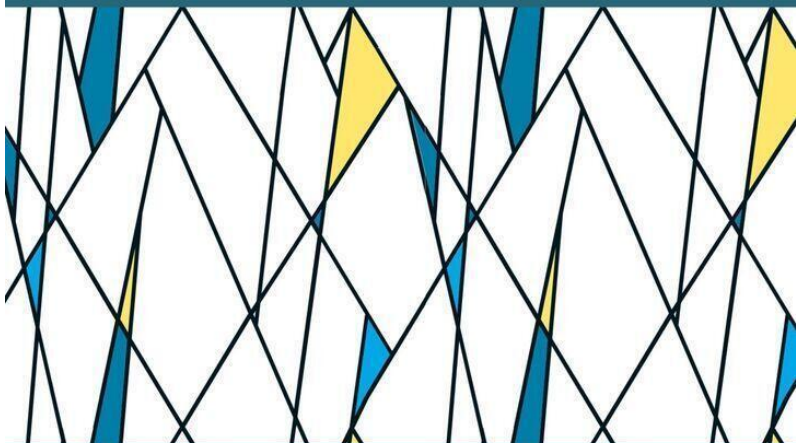


18+

Оноре де Бальзак



ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Перевод Елены Айзенштейн

Оноре Бальзак
Шагреневая кожа. Перевод
Елены Айзенштейн

<https://litres.ru/74375147>

ISBN 9785007106290

Аннотация

Роман «Шагреневая кожа», впервые опубликованный в 1831 году, вошедший в «Философские этюды» «Человеческой комедии», из тех произведений, которые должен прочитать каждый. Это книга об истории молодого человека по имени Рафаэль, оказавшегося в сложной ситуации после проигрыша в игорном доме. Но неожиданно судьба его меняется...

Содержание

Талисман	5
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Шагреновая кожа

Перевод Елены Айзенштейн

Оноре де Бальзак

Мосье Савари, члену академии наук

Редактор Елена Оскаровна Айзенштейн

Дизайнер обложки Елена Оскаровна Айзенштейн

Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн

Корректор Елена Оскаровна Айзенштейн

© Оноре де Бальзак, 2026

© Елена Оскаровна Айзенштейн, дизайн обложки, 2026

© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2026

ISBN 978-5-0071-0629-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Талисман

В конце нынешнего октября молодой человек вошел в Пале-Рояль в момент открытия игрового дома, в соответствии с законом, поддерживающим налогооблагаемую страсть. Не слишком смущаясь, он поднялся по лестнице, записанной под номером тридцать шесть.

— Мосье, пожалуйста, вашу шляпу! — крикнул ему сум, рычащим голосом маленький бледный старик из полумрака, защищенный перегородкой, показавший вдруг свое неприятное лицо.

Когда вы входите в игорный дом, порядок требует от вас поставить вашу шляпу. Это ли не евангелическая и провиденциальная траектория? Не есть ли это способ заключить inferнальный контракт с вами на предмет неизвестного залога? Не будет ли это для вас внешней формой сохранения уважения к тем, кто получит ваше деньги? Неужели полиция, отпечатывающаяся во всех социальных сточных каналах, захочет знать имя шляпника или ваше, если вы написали его внутри шляпы¹? Наконец, может, это нужно, что-

¹ В Великобритании был установлен налог на шляпы и на подкладке ставилась печать об уплате налога, поэтому, возможно, Бальзак упоминает далее в романе имя Уильяма Питта, который и ввел налог на шляпы. Начали взимать налог в 1784 году, а в 1811 его упразднили. Во Франции в эпоху Французской революции шляпы временно исчезли (их заменил фригийский красный колпак), в к 1830 году вернулись.

бы представить размеры вашего черепа и укутать в поучительную статистику умственные возможности игроков? На эту тему администрация хранит полное молчание. Но знайте, как только вы сделаете шаг к зеленому столу, ваша шляпа уже не будет принадлежать вам больше, как вы не будете принадлежать вам самим. Вы в игре, вы, ваша судьба, ваша шляпа, ваша трость и ваше пальто. До вашего выхода Игра продемонстрирует вам действие жесткой эпиграммы, она еще позволит вам вернуть некоторые вещи вашего багажа. Если шляпа у вас новая, вы узнаете об издержках, необходимых для костюма игрока. Удивление отобразило лицо незнакомца, получившего нумерованную карточку в обмен на свою шляпу, указывавшее на достаточно невинную душу (края шляпы были слегка счастливо очищены).

Старичок, который, без сомнения, с юности погряз в кипящих удовольствиях жизни игроков, бросил на молодого человека тусклый бесстрастный взгляд, в котором философ увидел бы нищету больницы, бродяжничество людей улиц, протоколы удушений, бесконечную вынужденную работу, эмигрантов в Гуасакоалько². Этот человек, чье белое длинное лицо не питалось ничем, кроме желатинового супа д'Арсе³, представлял собой лишь бледный образ страсти, столь скоро закончившейся. В его морщинах были следы его ста-

² Гуасакоалько — река в Мексике, куда ссылали французских ссыльных.

³ Суп с добавкой желатина, образ бедности, был изобретен французским химиком 19 века Жаном Пьером Дарсе.

рых мучений, он проигрывал даже жалование дня, как только получал его; подобно избиваемым, для которых удары кнута уже ничего не значат, он не мог ни от чего вздрогнуть; глухие стоны игроков, выходявших разорившимися, их немые проклятия, их взбешенные взгляды, находили его всегда бесчувственным. Это была воплощенная Игра. Если бы молодой человек повнимательнее рассмотрел этого печального Цербера, может, он мог бы сказать: в этом сердце есть только игра в карты!

Незнакомец не слышит живого совета, помещенного здесь, без сомнения, Провидением, поскольку его охватывает отвращение к дверям всех плохих мест; он решительно входит в залу, где звук золота производит ослепительное очарование на сознание, полное жажды богатства. Возможно, молодого человека толкнула сюда логика всех красноречивых фраз Руссо, например, такая печальная мысль: «Я полагаю, человек вступает в Игру; но, между игрой и смертью, он видит только свое последнее эю».

Вечером игорный дом кажется полным вульгарной поэтичности, но на деле полон кровавой драматичности. Залы переполнены зрителями и игроками, неимущими стариками, которые тащатся туда, чтобы разгорячиться от взволнованных лиц, оргий, начинающихся из-за вина и готовых закончиться в Сэне; страсть бьет через край, но слишком многочисленно число актеров, мешающих вам созерцать лицом к лицу демона игры. Вечер — это поистине кусок ансамбля,

в котором целая труппа кричит, где каждый инструмент оркестра модулирует свою фразу. Здесь вы видите множество уважаемых людей, ищущих рассеяния и платящих за удовольствие спектакля из гурманства, или, как в мансарде, куда они идут покупать по низкой цене мучительные сожаления на три месяца.

Но можете ли вы представить весь бред и силу человека, ожидающего открытия игорного дома?

Между игроками утра и игроками вечера существует разница, как есть разница между равнодушным мужем и восторженным любовником, замирающим под окнами его избранницы. Утром просто приходит пульсирующая страсть и нужда в своем искреннем ужасе. В этот момент вы можете восхищаться истинным игроком, игроком, который не ел, не спал, не жил, не думал, так что был грубым жгутом для кнута своего хлыста; так он страдал, работая для зуда тридцати или сорока ударов. И в этот проклятый час вы встретите глаза, пугающе спокойные, лица, очаровывающие вас, взгляды, поднимающиеся на карты и пожирающие их.

Игорные дома более возвышенны в начале игры. Испания со своими быками, Рим со своими гладиаторами, Париж, гордящийся своим Пале-Роялем, где раздражающая рулетка дает удовольствие видеть бегущую рекой кровь, без того чтобы ноги рискнули поскользнуться на паркете. Попробуйте бросить скрытый взгляд на эту арену. Войдите... Какая обнаженность! Стены, покрытые толстой бумагой в человече-

ский рост, предлагают единственный образ, могущий освежить душу. Там вы не найдете даже гвоздя, чтобы облегчить суицид. Паркет изношен и грязен. Продолговатый стол занимает центр зала. Простота соломенных стульев, вдавленных вокруг использованного, с позолотой ковра, объявляет о безразличном любопытстве к роскоши у этих людей, пришедших погибнуть для удачи и для роскоши. Это антитеза человеческому, открывающему себя повсюду, где душа властно реагирует на саму себя. Влюбленный хочет одеть свою любовницу в шелк, завернуть ее в мягкую ткань Востока, и большую часть времени он владеет ею, как гравер. Амбициозный мечтает быть на пике власти, сплюсываясь в грязи прислужничества. Торговец, росший в глубине промозгло-го и нездорового магазина, воздвиг огромное здание, где его сын, молодой наследник, будет охотиться на братских торгах. Наконец, существует ли вещь более неприятная, чем дом удовольствий? Удивительная проблема! Всегда в противоборстве с самим собой, обманывая надежды своими настоящими пороками, и эти пороки — будущим, которое ему не принадлежит, человек запечатлевает черты характера из непоследовательности и слабости. Там ничего не случится, кроме несчастья.

В момент, когда игрок вошел в гостиную, там уже находились несколько игроков. Три лысых старика сидели небрежно вокруг зеленого стола. Их желтоватые лица были бесстрастны, как у дипломатов с пресыщенными душами и

сердцами, задолго до этого разучившимися биться, даже подвергая опасности личное имущество жены. Юный итальянец с черными волосами оливкового оттенка спокойно положил локоть на край стола, и, казалось, слушал тайные предчувствия, которые судьбоносно кричали игроку:

— Да!

— Нет!

Эта южная голова дышала золотом и огнем. Семь или восемь зрителей, стояли, аккуратно образуя галерею; они ждали сцены, приготовившей удар судьбы, лица актеров, движение серебра и игровых грабель. Праздные, молчаливые, неподвижные, внимательные были там, как народ в время казни, когда палач отсекает голову. Высокий сухой человек в потертой одежде в одной руке держал запись, а в другой — булавку, чтобы отметить ходы на Красное и Черное. Это был один из современных Танталов, который жил на доходы от всех наслаждений своего века, один из скупцов без сокровищ, игравший воображаемой ставкой, тип рассудительного безумца, утешающего себя в горестях, неживший химеру, поступающий, наконец, с пороком и опасностью, как юный священник с Евхаристией, когда произносит белую мессу. Перед лицом банка и одного или двух утонченных игроков, экспертов успеха в игре, напоминавших старых рабов, которые не пугаются больше галер; они пришли сюда, чтобы рискнуть тремя ходами и немедленно унести возможный выигрыш, которым они жили. Два старых гарсона, скре-

стив руки, небрежно прогуливались по зале и время от времени смотрели через окно в сад, как будто чтобы в качестве знака показать прохожим свои плоские лица. *Крупье* бросил на понтёров тот презрительный взгляд, который убивает, и сказал тонким голосом: «Делайте игру!» — когда молодой человек открыл дверь. Молчание становилось более глубоким, и головы повернулись к новичку, пришедшему из любопытства. Неслыханная вещь! Старики потупились, служащие окаменели, зрители, вплоть до фанатичного итальянца, испытующе смотрели на незнакомца с каким-то ужасным чувством.

Нужно быть очень несчастливым, чтобы к вам испытали жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень гадким, чтобы породить дрожь в публике, где страдание должно быть немо, нищета весела, а отчаяние почетно! Ну, ладно! Все эти чувства расшевелились в холодных сердцах, когда вошел молодой человек. Но разве не могут палачи немного заплакать при виде святых дев, чьи русые головы будут отсечены по революционному сигналу?

С первого взгляда игроки прочитали на лице новичка какую-то ужасную тайну: в юных чертах отпечаталась туманная грация, его взгляд показывал мучительные усилия, тысячи обманутых надежд! Мрачное бесстрастие самоубийцы придавало его лбу матовую и болезненную бледность; горькая улыбка нарисовала легкие складки в уголках его рта, и его физиономия выражала смирение, которое было видеть

тяжело. Какая-та гениальная тайна мерцала в глубине его глаз, охваченных, может быть, усталостью наслаждения. Было ли это распутство, которое грязью отпечаталось на его некогда чистом и ясном лице, ныне испорченном? Врачи, без сомнения, определили бы у него поражение сердца, заметили бы желтизну, обрамлявшую веки, и красноту, которой отмечены щеки, так что поэты захотели бы признать это знаками опустошения от науки, следами ночей, проведенных при свете студенческой лампы. Но страсть, более смертельная, чем болезнь, и болезнь, более безжалостная, чем наука и гений, изменили эту юную голову, напрягли эти живые мускулы, завладели этим сердцем, расцветшим от оргий, научных занятий и болезни. Как знаменитого преступника, пришедшего в баню, осуждавшие принимают с уважением, так все человеческие демоны, эксперты в муках, приветствуют неслыханное страдание, глубокое уязвление, которое нащупывает их взгляд, когда они распознают величие принца в элегантной нищете его одежд, в величии его молчаливой иронии. Молодой человек был одет в хороший фрак, но сочетание его жилета и галстука было слишком искусно, чтобы можно было предположить под ними белье. Его руки, похожие на руки женщины, были сомнительной чистоты: наконец, в течение двух дней он уже не носил перчаток!

Если крупные и гарсоны зала затрепетали, оттого что очарование невинности расцвело под остатками тонких и грубых форм, в этих русых редких волосах, естественно зави-

вавшихся. Это лицо двадцати пяти лет имело пороки, возникшие не иначе как от несчастного стечения обстоятельств. Свежая жизнь юности еще боролась в нем с бунтом беспомощности. Сумерки и свет, небытие и существование сражались там, всякий раз создавая изящество и ужас. Молодой человек выглядел там, как ангел без лучей света, сбившийся со своей тропы. Так все профессора, искусные в пороке и позоре, напоминают старую беззубую женщину, принимающую жалостливое выражение при виде молодой девушки, предлагавшей себя для разврата, готовые закричать новичку: «Уходите!»

Тот подошел прямо к столу, и, стоя, безо всякого расчета кинул на ковер лежавший в руке золотой, покотившийся на Черное; потом, как сильные души, испытывающие отвращение к придирам, он бросил на крупье спокойный и бурный взгляд. Интерес к его игре был так велик, что старики не ставили; но итальянец, охваченный страстным фанатизмом и мыслью, которая заставила его улыбнуться, понтировал своей кучей золота, в противовес игре незнакомца. Метавший банк забыл произнести хрипло и неотчетливо фразы, бывшие в долгом обращении в игре: «Делайте ставки! Ставки сделаны!» Крупье разложил карты, желая, казалось, удачной игры последнему пришедшему, безразличный к тому, будет ли он в проигрыше или в выигрыше, занимаясь этими сомнительными удовольствиями. Каждый из зрителей хотел видеть драму или последнюю сцену благородной жиз-

ни в судьбе этого золотого; их глаза остановились на роковом, устало сияющем картоне; но, несмотря на внимание, с которым поочередно смотрели на молодого человека и на карты, они не смогли заметить никаких знаков эмоций на холодном и замкнутом лице.

— Красное, пара, ушло, — официально произнес крупье.

Тип глухого стога вырвался из груди итальянца, когда он увидел, как одна за другой упали сложенные ассигнации, которые запустил в него метавший. Что касается молодого человека, он не понял своего разорения в момент, когда ведущий игру повернулся к нему, чтобы вернуть последнюю монету. Слоновая кость заставила издать сухой шум монет, которые быстро, как стрела, соединились с кучей золота, разложенного перед кассой. Незнакомец тихо закрыл глаза; его губы побелели; но он сразу поднял веки, его рот опять стал красным кораллом, и в духе англичанина, для кого жизнь не имела больше тайн, он исчез, не прося утешения, под одним из душераздирающих взглядов, какие достаточно часто в отчаянии бросают игроки в галерее. Сколько событий разворачивается за доли секунды или за пару из них!

— Вот, без сомнения, его последний картуш⁴! — улыбаясь, сказал крупье после молчания, в течение которого он взял монету двумя пальцами, чтобы показать своим assi-

⁴ Картуш — это лепное или графическое украшение в виде щита с завитками или свитка. В тексте Бальзака слово «картуш» означает последнее украшение игры.

стендам.

— Этот кипящий ум бросится в воду, — проговорил за-
всегдай, глядя вокруг себя на игроков, которые сами все
знают.

— Ба! — воскликнул гарсон, беря щепотку табака.

— Если бы ему подражали? — сказал один из стариков
своим коллегам, указывая на итальянца.

Все посмотрели на счастливого игрока, чьи руки трепета-
ли, пока он считал банковские билеты.

— Я услышал голос, — сказал итальянец, — который
крикнул мне в ухо: «Игра будет против отчаяния этого мо-
лодого человека».

— Это не игрок, — сказал банкир, иначе бы он сгруппи-
ровал бы свое золото в три кучки, чтобы дать себе больше
шансов.

Молодой человек ушел, не потребовав своей шляпы; но
старый лакей, отметив плохое состояние его одеяния, вер-
нул ему ее, не произнеся ни слова. Машинальным движе-
нием игрок вернул свою карточку и спустился по лестнице, на-
свистывая арию *di tanti palpiti*⁵ и дыша так слабо, что едва

⁵ Ария Танкреда из оперы Россини «Танкред». Ария, упомянутая Бальзаком, «*Di tanti palpiti*» («За весь трепет») была очень популярна. Премьера оперы отно-
сится к 1813 году. Любопытно, что опера имела две: счастливую и трагическую
— концовки. Сначала Вольтер написал счастливый конец с соединением влюб-
ленных, потом переделал концовку, в которой Танкред должен был погибнуть.
Но трагическая концовка не прижилась, и Россини пришлось восстановить вари-
ант, предложенный в либретто Вольтера. России опера впервые была поставлена
в 1839 г. <https://www.belcanto.ru/tancredi.html> В романе Бальзака его герой напе-

сам слышал приятные ноты.

Вскоре он находился уже под галереей Пале-Рояль, дошел до улицы Сан-Оноре, взял направление на Тюильри и нерешительным шагом пересек сад. Он шел, словно посреди пустыни, сломленный людьми, которых он не замечал, слыша среди людских выкриков только голос смерти; наконец, потерявшись в немом размышлении, как некогда схваченный преступник на телеге, ехавшей от Дворца к площади Грёв, красной всей кровью, пролитой с 1793 года.

В самоубийстве существует что-то великое и ужасное. Падения множества людей безопасны, как для детей, падающих слишком с низкой высоты, чтобы разбиться; но, когда разбивается взрослый человек, он должен оказаться довольно высоко, чтобы подняться к небесам и узнать какой-то недоступный рай.

Непримиримыми должны быть ураганы, заставляющие просить мира душе с пистолетом во рту. Сколько молодых талантов, удерживаемых в мансарде, исчезли и погибли от ошибки друга, из-за отсутствия женщины-утешительницы, среди миллиона существ, в присутствии толпы, которая оставила наскучившее ей золото. Стоит задуматься: самоубийство приобрело гигантские пропорции. Между добровольной смертью и плодотворной надеждой, чей голос звал молодого человека в Париж, один Бог знает, сколько схва-

вает арию, которая намекает на два вариант его дальнейшей возможной судьбы: самоубийство в Сэне или счастливое спасение.

тивалось мнений, сколько беззащитной поэзии, отчаянных и сдерживаемых криков, бесполезных попыток и провалившихся шедевров. Каждое самоубийство — это возвышенное меланхолией стихотворение. Где найдете вы в океане литературы, плывущей в этом потоке, книгу, которая может побороть гения подобного сообщения: *«Вчера, в четыре часа, молодая женщина бросилась в Сэну с Моста Искусств»*.

Перед этим парижским лаконизмом, драмами, романами, бледнеет все, даже этот старый фронтиспис: *«Сетования о славном короле Каёрнавене, заточенном в тюрьму его детьми»*; последний фрагмент потерянной книги, чье единственное чтение заставило плакать Стерна⁶, который сам оставил свою жену и детей. Незнакомца одолевали тысячи подобных мыслей, проходивших в лоскутках его души, как знамена, летящие посреди сражения. Он отложил тяжесть своих мыслей и воспоминаний, чтобы остановиться перед какими-то цветами, чьи головки мягко балансировали на ветру посреди массивной зелени; вскоре его охватила дрожь жизни, противившаяся тяжелой мысли о самоубийстве; он поднял глаза к небу: там, в серых облаках толчки ветра, преобразенные печалью, тяжелой атмосферой, еще советовали ему умереть. Он вышел к мосту Рояль, вспоминая о последних фантазиях своих предшественников. Он улыбнулся, вспоминая, что лорд Каслри, перед тем как перерезать

⁶ Лоренс Стерн — английский писатель 18 века, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Жена Стерна — Элизабет Ламли.

себе горло, удовлетворил самую смиренную нашу потребность; что ученый Ожер нашел свою табакерку, чтобы перед смертью понюхать табак. Анализируя эти странности, он говорил сам с собой, когда прижался напротив парапета моста, чтобы позволить пройти силачу из крытого рынка. Тот, имевший слегка выбеленным карман своей одежды, тщательно вытряхнул из него пыль. Дойдя до верха арки, он нехорошо посмотрел на воду.

— Плохое время для плавания, — сказала ему с улыбкой старая женщина, одетая в рубище.

— Грязная и холодная Сэна! — ответил он с улыбкой, полной наивности, свидетельствовавшей о безумии его смелости, но он задрожал вдруг, увидев вдали, у порта Тюильри, помещение с надписью или со словами, написанными буквами высотой в фут: ПОМОЩЬ УТОПАЮЩИМ.

Ему померещился мосье Дашо, вооруженный филантропией, пробужденный и движимый добродетельным веслом, которое ломало головы утопающим, когда, к несчастью, они снова поднимались на воду. Он представил, как возбуждается чужое любопытство, поиски врача, приготовления ингаляций; он читал жалобы журналистов, написанные между радостью праздников и улыбками танцорш; он слышал звон эю, отсчитанных лодочникам за его голову префектом Сэны. Смерть он оценил в пятьдесят франков, но жил он как талантливый человек без поддержки, без друзей, без застолий, без славы, настоящий социальный ноль, бесполезный в

Отечестве, не имевший никакого успеха. Смерть при свете дня казалась ему неблагородной, и он решил умереть в течение ночи, чтобы доставить неопознанный труп этому обществу, не ценящему величия его жизни. Однако, он продолжал свой путь, следуя через набережную Вольтер⁷ ленивой и праздной походкой, чтобы убить время.

Когда он спустился по лестнице, заканчивавшейся на тротуаре моста на углу набережной, его внимание привлекли букинисты, расположившиеся на парапете: мало требовалось ему торговаться с несколькими из них. Он улыбнулся, сунул руки в карманы, собираясь вернуться к своему беззаботному шагу, когда с удивлением услышал фантастическое звучание нескольких монет, зазвеневших в глубине его кармана. Улыбка надежды осветила его лицо, скользнула по губам, по чертам, по лбу, заставив заблестеть в глазах и на темных щеках. Эта искра счастья напоминала огни, бежавшие по остаткам бумаги, уже охваченной огнем; но лицо походило на черный пепел; оно сделалось печальным, когда незнакомец вновь сунул руку в карман, обнаружив в нем всего три больших су.

— Ах, добрый господин! Милость! Милость! Безупречность! Маленькое су на хлеб!

Молодой трубочист, чье надутое лицо было черно, а тело коричнево от сажи, протянул руку к молодому чело-

⁷ Упоминание набережной перекликается с упоминанием оперы Россини (см. примечание). Две концовки оперы с двумя разными вариантами жизни Рафаэля.

веку, чтобы вытрясти из него последние гроши. В двух шагах от маленького савойара⁸ бедный больной позорный старик, страдалец, пренебрежительно накрывшись дырявым ковром, сказал ему грубым глухим голосом:

— Мосье, дайте мне то, что хотите, я помолюсь о Вас Богу.

Но когда молодой человек посмотрел на старика, тот умолк и больше ничего не спросил, признав, может быть, в этой похоронной фигуре ливрею явной нищеты, большей, чем его собственная.

— Милости! Милости!

Незнакомец бросил монету ребенку и бедному старику, покинув тротуар, чтобы пойти близ домов: он не мог больше держаться мучительного зрелища Сэны.

— Будем молиться Богу, чтобы он сохранил ваши дни, — сказали ему двое нищих.

Подойдя к витрине торговца эстампами, он почти замер, увидев молодую женщину, спускавшуюся из сияющего экипажа. Он с удовольствием созерцал очаровательное существо, чье белое лицо гармонично обрамляла элегантная шляпа из атласа; его соблазнили тонкая талия и красивые движения; ее платье, слегка поднявшееся на подножке, позволило ему увидеть ногу, чьи тонкие контуры рисовались под белыми, хорошо выполненными юбками. Молодая женщина вошла в магазин, она обсуждала покупку альбомов, кол-

⁸ Савойар — здесь, скорее всего, бродячий, странствующий певец. Возможно, житель Савойи.

лекции литографий и купила все это за несколько золотых монет, сиявших и звеневших на прилавке. Молодой человек, занятый у порога двери рассматриванием гравюр, экспонируемых в часах, живо обменялся с незнакомкой самым пронзительным взглядом, который может бросить мужчина на женщину, в противовес беззаботному взгляду, брошенному на прохожих. С его стороны, это было прощание — с любовью, с женщиной! Но этот последний и мощный запрос не был понят, не взволновал сердца пустой женщины, не заставил ее покраснеть или опустить глаза. Что он был для нее? Еще одно восхищение, вдохновенное желание того, кто вечером подскажет это сладкое слово: *«Я была хороша сегодня»*. Молодой человек быстро прошел с другой стороны и не повернул головы, когда незнакомка садилась в свою карету. Ее лошади ушли, этот последний образ роскоши и элегантности ускользнул, как ускользала его жизнь. Он принялся медленно меланхолически ходить вдоль прилавков, без особого интереса разглядывая товары торговцев. Когда магазины закончились, он начал изучать Лувр, Институт, башню Нотр-Дам, Дворец и Мост Искусств. Эти памятники приняли печальную физиономию, отражавшую серый оттенок неба, чьи редкие прояснения способствовали зловещей атмосфере Парижа, которая, подобно красивой женщине, подчинена необъяснимым причудам уродства и красоты. Там сама природа хотела погрузить его в экстаз страданий.

Став добычей этой злой силы, чье разрушительное дей-

ствие находит носителя во флюидах, циркулирующих в наших нервах, он почувствовал, что его организм неожиданно пришел к феномену текучести. Мучения этого конца отпечатали в нем движение, подобное волнам, и он попробовал увидеть здания, людей сквозь туман, в котором все плыло и волновалось. Он хотел уклониться от возбуждений, создаваемых в его душе ответных реакций физической природы, и направился к магазину древностей, в стремлении дать пищу своим мыслям или дождаться там ночи, наблюдая за торговлей произведениями искусства. Это была, можно сказать, проба смелости и поиск родства, как у преступников, бросающих вызов силам, отправившим их на эшафот; но сознание приближающейся смерти вернуло молодому человеку уверенность, как герцогине, имеющей двух любовников; и, развязный, он вошел к торговцу редкостями, позволив своим губам застывшую пьяную улыбку. Разве не был он опьянен жизнью или, может быть, смертью? У него снова закружилась голова, и он начал обозревать вещи в странном цвете или легким движением пошевеливался от беспорядочности своего волнения, иногда закипавшего, как водопад, иногда спокойного и вялого, как теплая вода. Он просто спросил разрешения войти в магазин, чтобы по своему обыкновению поискать какие-то редкости. Юный гарсон, со свежим и толстощеким лицом, с русой шевелюрой и в меховом головном уборе, поручил следить за магазином старой крестьянке, ти-

па Калибана⁹ в женском обличе, занятой чисткой печи, чуда который были вызваны гением Бернара де Палисси¹⁰; потом он беззаботно сказал иностранцу:

— Видите, мосье, видите! У нас внизу достаточно обычные вещи, но, если вы потрудитесь подняться на второй этаж, я могу вам показать прекрасную мумию Каира, кое-что из инкрустированной керамики, скульптуры черного дерева, *подлинное Возрождение*, недавно привезенные, во всей красе.

В ужасной ситуации, в которой находился незнакомец, болтовня этого гида, его глупые меркантильные фразы становились незнакомца мелочными подразниваниями, которыми узко мыслящие умы убивают гения. До конца неся свой крест, он, казалось, слушал своего проводника и отвечал ему жестами или односложно; но незаметно он завоевал право молчать и мог достичь этого без страха последних размышлений, делавшихся ужасными. Он был поэт, и его душа случайно встретила огромное пастбище мысли; прежде всего, он должен был увидеть кости двадцати миров.

С первого взгляда магазин предложил ему смущающую картину, в которой сталкивались все человеческие и божественные произведения. Крокодилы, обезьяны, чучела удавов улыбались сквозь стекла и, казалось, хотели укусить тор-

⁹ Калибан — персонаж из пьесы Шекспира «Буря».

¹⁰ Бернар де Палисси — выдающийся ученый-испытатель, художник французского Ренессанса.

сы, бежавшие под лаком или восходившие к люстрам. Сэврская ваза или мадам Жакото¹¹, нарисовавшая Наполеона, находились рядом со сфинксом, который посвящен Сесострису¹². Начало мира и события вчерашнего дня сочетались с гротескным дружелюбием. Напоказ вертел был поставлен на дароносицу, а республиканская сабля — на предмет эпохи Средневековья. Мадам Дюбари, пастелью написанная Латуром, со звездой на голове, обнаженная и в облаке, казалось, с вожделием созерцала индийский чибук¹³, пытаюсь догадаться о полезности спиралей, извивавшихся перед ней. Инструменты смерти: кинжалы, забавные пистолеты, тайное оружие — были брошены вперемешку с инструментами жизни: с фарфоровыми супницами, саксонскими тарелками, восточными чашками из Китая, старинными солонками и феодальными флаконами для напитков. Корабль из слоновой кости плыл на всех парусах на спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина ошеломила императора Августа, бесстрастно величественного. Несколько портретов французских старцев, голландских бургомистров, таких же незаметных теперь, как и при их жизни, поднимались поверх этого старинного хаоса, пронизывали вас холод-

¹¹ Мари-Виктуар Жакото — французская художница по фарфору.

¹² Сесострис — собирательное имя в египетской политической истории, фигура, которой приписывали завоевание всей Азии, частично Европы, а также некоторые законы.

¹³ Чибук — курительная трубка.

ным и бледным взглядом. Все страны Земли, казалось, несли сюда осколки своих наук, образцы произведений. Это был тип философического удобрения, где ничто не отсутствовало: ни трубка дикаря, ни зеленая или золотая домашняя туфля серая, ни маврский ятаган, ни идол Тартара; здесь были и кiset с табаком солдата, и дароносица священника, и перья трона. Эта чудовищная картина была подчинена тысяче случайностям света, странному множеству отражений, обязанных путанице нюансов, внезапному противопоставлению дней и ночей. Ухо верило, что слышит прерывистые крики, дух охватывали неоконченные драмы, глаз наблюдал слабо приглушенные огни. Наконец, упрямая пыль набросила легкую вуаль на все объекты, в которых множество углов и многочисленных извилин создавало самый живописный эффект. Незнакомец сначала сравнил эти три зала: глоток цивилизации, культуры, диковинок, шедевров, царственности, разорения, ума и безумия — с зеркалом, полным граней, каждая из которых давала мир. После этого туманного впечатления он хотел выбрать изделие; но силой взгляда, мысли, мечты он наткнулся на власть лихорадки, происходящей из чувства голода, которым режут недра. Вид таких национальных или индивидуальных существований, свидетельствующих о человеческих предметах, их переживших, заставил молодого человека онеметь; желание, толкнувшее его в магазин, было удовлетворено: он вышел из реальной жизни, поднялся по ступеням к идеальному миру, пришел в

очаровательный дворец восторга, где универсум явился ему крупницами и огненными чертами, как некогда сверкающее будущее явилось перед глазами святого Иоанна на Патмосе.

Множество страдающих, привлекательных и ужасных лиц, темных и прозрачных, далеких и близких, поднялось громадами, мириадами, поколениями. Египет, царственный, таинственный, одетый в пески, был представлен мумией, покрытой черной повязкой: фараоны, погребавшие народы, создавали себе гробницы; Моисей, Евреи, пустыня, он ощутил весь мир, древний и торжественный. Свежая и пленительная статуя из мрамора сидела на крученой и сияющей белизной колонне, говоря ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах! кто не улыбнулся бы, как он, увидев в красной глубине юную брюнетку, танцующую на тонкой глиняной этрусской вазе перед богом Приапом¹⁴, которого она приветствовала радостным видом, взглядом латинской королевы, с любовью ласкающей свою несбыточную мечту?

Причуды имперского Рима дышали там повсюду: в бане, в постели, в наряде беспечной и задумчивой Юлии, ожидающей своего Тибула. Вооруженная властью арабских талисманов, голова Цицерона затрагивала воспоминания о свободном Риме и разворачивала перед ним страницы Тита Ливия: молодой человек созерцал Римский сенат и народ Рима, консула, ликторов, тоги, украшенные пурпуром, сражения Форума, разгневанный народ, медленнодвигающийся перед

¹⁴ Приап — древнегреческий бог плодородия.

ним, как туманообразные лица из снов. Наконец, доминировал над этими образами христианский Рим. Живопись открывала небо: он видел Богоматерь, ныряющую в золотое облако на груди ангелов, затмевавших славу солнца, слышал несчастные жалобы, которые с нежным видом освежала эта Ева. Прикосновение к мозаике, сделанной из лавы Везувия и Этны, бросило его в жаркость и дикость Италии; он участвовал в оргиях Борджиа, бежал в Абруццо, вдыхал итальянские страсти, увлекался их белыми лицами и удлинненными черными глазами. Он дрожал от ночных расходов, прерванных холодной шпагой мужа, обозревал кинжал Средневековья, чья ручка была выполнена, как кружево, чья ржавчина напоминала пятна крови. Индия и ее религия возродились в китайском кладе, покрытом остроконечной шляпой с поднятыми углами, похожими на колокольчики, одетой в золото и шелк. Рядом с кладом — плетеная ткань, красивая, как баядерка¹⁵, закручивающаяся и источающая запахи сандала. Японский монстр, чьи глаза косы, рот искривлен, члены искажены, пробуждает душу через стремление народа, уставшего от постоянства унитарной красоты, найти несказанное удовольствие в плодородии уродства. Солонка, вышедшая из мастерской Бенвенуто Челлини, перенесла его внутрь Возрождения, во времена расцвета вольности и искусства, когда суверены развлекались казнями, а соборы, лежа в объятиях куртизанок, предписывали целомудрие простым священни-

¹⁵ Баядерка — индийская национальная танцовщица.

кам. На камее он видел победу Александра; убийство — на доске светильника; неистовую, кипучую, жестокую религиозную войну в глубине каски. Потом веселые образы рыцарства оглушили миланские доспехи, превосходя дамасские, хорошо начищенные, через щель которых еще сияли глаза паладина.

Этот океан мебели, изобретений, мод, произведений,хлама составлял для него бесконечную поэму. Формы, цвета, мысли — все оживало там; но душе не предлагалось ничего исчерпывающего. Поэт должен был завершить эскиз великой картины, которую создавала эта огромная палитра, где бесчисленные случаи человеческой жизни с презрением были брошены в изобилии. После владения всем миром, после созерцания стран, эпох, царств молодой человек вернулся к личному существованию. Он как бы вернулся к самому себе, схватывая детали, оттолкнувшись от жизни наций, как от слишком разрушительной жизни для одного человека.

Там спал ребенок из воска, спасенный из кабинета Рюйша¹⁶, и это восхитительное творение напомнило ему радости его юности. Чарующий вид набедренной повязки юной д'Отаити¹⁷ рисовал в его горячем воображении жизнь простой природы, целомудренную обнаженность истинной чистоты, столь естественные для мужчины ленивые удовольствия, всю

¹⁶ Фредерик Рюйш был голландским ученым, анатомом, декоратором. Он создал анатомическую коллекцию для Петра I.

¹⁷ Возможно, речь идет о девушке с остова Таити (Полинезия).

спокойную участь на краю свежего и мечтанного источника под банановым деревом, распространяющим без культивирования вкусную манну. Но внезапно он превратился в корсар и окрасился ужасной поэзией, отпечатанной в роли Лара, живо вдохновленного жемчужными цветами тысяч раковин, возбужденного видом нескольких каменистых кораллов, которыми пахнут ламинарии, водоросли и атлантические ураганы. Восхищаясь дальше изысканными миниатюрами, лазурными и золотыми арабесками, обогащающими некоторые рукописи молитвенников, он забыл о смятении моря. Мягко качаясь в мирных мыслях, он заново соединил обучение и науку, пожелав сытой жизни монахов, свободных от печалей и от удовольствий, когда он лежал бы в глубине кельи, созерцая через оконные арки луга, лес, виноградники своего монастыря. Перед какими Тенирсами¹⁸ он надевал на себя солдатскую одежду или рубище рабочего, желал носить грязную, закопченную шапку фламандцев, пьяных от пива, играющих с ним в карты, и улыбался толстой крестьянке, привлекательной своей полнотой. Он дрожал от холода, видя падение снега в Миери, или сражался, глядя на командора Сальвадора Розу. Он ласкал иллинойский тамагавк, он чувствовал нож Эрокеза, сдиравшего ему кожу с черепа. Очарованный видом ребенка, он доверил его рукам королевы, от которой он слышал мелодичный романс, заявлявшей ему о своей любви вечером, в полумраке, у готического камина,

¹⁸ Тенирс — фламандский живописец и гравер «Золотого века Нидерландов».

где теряется взгляд согласия. Он цеплялся за все радости, охватывал все страдания, завладевая всеми формулами существования, так щедро брошенными его жизни и его чувствам в призраках этой пластической и пустой природы, так что шум его шагов утешал душу, как далекий звук другого мира, как шум Парижа, доносящийся с башен Нотр-Дама.

Поднявшись по внутренней лестнице, которая вела в залы, расположенные на втором этаже, он увидел щиты, коллекцию оружия, резные скинии, свисающие со стен деревянные образы, поставленные на каждой лестнице. Следуя за самыми странными формами, за чудесными творениями, расположенными на границе жизни и смерти, он шел мимо сновиденных предметов; наконец, словно сомневаясь в своем существовании, он был, как эти любопытные произведения, не совсем умерший, не совсем живой. Когда он входил в новые торговые залы, день начинал бледнеть; но свет, казалось, был бесполезен в этом сияющем золотом и серебром богатстве, находившемся здесь, в собрании. Самые дорогостоящие капризы расточителей, умерших в мансардах после владения несколькими миллионами, отыскивались на этом огромном базаре человеческих безумств. Чернильный прибор, оплаченный ста тысячами франками и перекупленный за сто су, стоял рядом с замком с секретом, чья цена была достаточной для королевского выкупа. Там человеческий гений обнаруживал всю пышность своей нищеты, всю славу необыкновенных миниатюр. Столик черного дерева, истин-

ный идол художественности, созданный по рисункам Жана Гужона¹⁹, на который было истрачено несколько лет работы, может быть, был приобретен по цене дров для камина. Здесь презрительно нагромождались ценные шкатулки и мебель, сделанная руками фей.

— У вас здесь миллионы! — воскликнул молодой человек, войдя в комнату, заканчивавшую огромную анфиладу, украшенную художниками скульптурами и золотом последнего века.

— Скажите лучше, миллиарды, — ответил крупный толстощекий гарсон, — но это еще ерунда. Пройдите на четвертый этаж, и вы увидите!

Незнакомец проследовал за своим проводником на четвертый этаж, где перед его усталыми глазами последовательно прошли несколько картин Пуссена²⁰, несравненная статуя Микеланджело, несколько восхитительных пейзажей Клода Лорана, Жерара Доу, напоминавшие страницы Стерна; Рембрандт, Мурильо, Веласкес, темные и колоритные, как стихи лорда Байрона; потом — античные барельефы, агатовые кубки, чудесный оникс; наконец, здесь были работы, избавляющие от желания творить, шедевры, аккумулирующие ненависть к искусствам, убивающие энтузиазм. Он подошел к Мадонне Рафаэля, но он бросил Рафаэля и посмотрел на лицо Корреджо, имевшее взгляд, который нельзя было выне-

¹⁹ Жан Гужон — скульптор, архитектор эпохи французского Ренессанса.

²⁰ Пуссен — французский живописец.

сти; взглянул на драгоценную вазу в старинной порфире, чьи бесценные скульптуры представляли собой круг всех римских приапей²¹ самой гротесковой непристойности, наслаждения некой Коринны, мало улыбавшейся. Он задохнулся под обломками исчезнувших пятидесяти веков, он мучился всеми человеческими мыслями, был убит роскошью и искусствами, подавлен этими формами Возрождения, которые, словно монстры, рожденные под ногами нескольких злых гениев, без конца ведут предлагаемые им сражения. Подобно причудам современной химии, собирающей творение в газообразное состояние, не составила ли душа ужасного яда для быстрой концентрации наслаждений, сил или мыслей? Не гибнут ли многие люди от ошеломления моральной кислотой, вдруг выброшенной в их внутреннее существо?

— Что находится в этой коробке? — спросил он, войдя в большой кабинет, последний кусок славы, человеческих усилий, оригинальностей, богатства, среди которых он указал пальцем на огромный квадратный ящик красного дерева, висевший на гвозде, на серебряной цепи.

— Ах, мосье, есть ключ, — сказал с таинственным видом грубый гарсон. — Если вы желаете увидеть этот портрет, я с охотой предвосхищу ваше любопытство.

— Вы рискуете! — сказал молодой человек. — Ваш хозяин князь?

— Но я не знаю, — ответил гарсон.

²¹ Приапеи — эротичные шуточные стихи.

В течение мгновения они удивленно смотрели один на другого. Молодой продавец интерпретировал эти слова как желание и оставил его в кабинете одного.

Вам приходилось когда-нибудь пронизывать огромность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Вооружившись его гением, летели ли вы в пропасть бескрайнего прошлого, как будто поддержанные рукой колдуна? Открывая переход за переходом, горизонт за горизонтом, под карьерами Монмартра или в сланцевой породе Урала животных, чьи окаменевшие шкуры принадлежат допотопным цивилизациям, душа мельком пугается увиденным миллиардам лет, миллионам людей, чья слабая человеческая память, чья неразрушимая божественная традиция забыта и чей пепел, толкаемый к поверхности нашего земного шара, формирует там два фута земли и дает нам хлеб и цветы. Кювье — не есть ли это самый великий поэт нашего века? Лорд Байрон хорошо запечатлел в стихах несколько моральных движений, но наш вечный натуралист с помощью белых костей пересоздает миры, перестраивает города, как Кадмус²², при помощи зубов, населяя тысячи лесов своих зоологических мистерий несколькими кусочками угля, восстанавливая популяции гигантов у пяты мамонта. Эти лица одеваются, растут и населяют области в гармонии с их колоссальным

²² Кадмус — герой греческой мифологии, основатель города Фивы и некоторых других городов. Афина велела бросить в землю зубы дракона, из них выросло племя воинов, построивших Кадмею, или цитадель Фив.

телосложением. Кювье был поэтом цифр, ставившим ноль рядом с семеркой. Он пробуждал небытие, не произнося великих магических слов; он раскапывал участок, содержащий гипс, обозревал оставленный там отпечаток и кричал вам: «Видите!» Внезапно мрамор оживает, смерть оживляется, мир разворачивается! После многочисленных династий гигантских творений, после видов рыб и кланов моллюсков, приходит, наконец, человеческий тип, перерожденный продукт величественного типа, расколотый, может быть, Творцом. Разгоряченные его ретроспективным взглядом, эти люди жалки, рожденные вчера, могут переступить через хаос, петь бесконечный гимн и придать форму прошлого вселенной своеобразного ретроградного Апокалипсиса. Под влиянием этого ужасного воскресения, обязанного голосу одного человека, частица, чье использование предоставлено этой безымянной бесконечностью, общей со всеми сферами, называемая нами ВРЕМЕНЕМ, эта минута жизни вызывает у нас жалость. Мы спрашиваем себя, раздавленные, какие мы есть под руинами миров, а что же добрая наша слава, наша ненависть, наша любовь; а если, чтобы стать на точку неизблемости в будущем, боль жизни должна быть принята в себя? Вырванные из настоящего, мы мертвы, пока наш слуга не войдет и не скажет: «Мадам графиня ответила, что она ждет мосье».

Диковинки, чей вид представил молодому человеку все известное творение, отразился в душе унынием, рождаю-

щимся у философа от научного взгляда на неизвестные творения: он более живо желал теперь смерти, он упал в кресло и позволил своему взгляду блуждать по фантазмагорической панораме прошлого.

Картины светились, головы Богоматери улыбались ему, статуи расцветчивались лживой жизнью. Под покровом тени, в танцах, с лихорадочной суматохой заканчивавшихся в его расколоте сознания, эти предметы волновались и кружились перед ним; каждый клад делал ему свою гримасу, глаза на картинах, казалось, шевелились, сверкая; каждая из трепещущих форм прыгала, отрывалась от своего места важно или легко, с грацией или резко, в соответствии с нравами, с характером и своими особенностями. Это была таинственная суббота, заслуживающая фантазий, предвиденных доктором Фаустом на *Брокене*. Но эти оптические феномены, порожденные усталостью, напряжением глаз, капризом полумрака, не могли ужаснуть незнакомца. Мучения жизни были безвластны над душой, приближающейся к мукам смерти. Ему покровительствовала даже разновидность шутивого согласия странностей этого морального гальванизма, чьи чудеса соединяются в последних мыслях, дающих ему еще чувство существования. Молчание так глубоко царствовало вокруг него, что вскоре он впал в тихую мечтательность, чьи впечатления от нюанса к нюансу постепенно чернели, как по волшебству, и медленно уменьшали свет.

Свечение готово было покинуть небо, перед тем как бро-

силь последнее красное отражение, сражаясь с ночью; он поднял голову, увидев немного освещенный скелет; тот возвел на него палец и с сомнением покачал черепом справа налево, словно бы говоря: «Мертвые тебя еще не хотят!»

Проведя рукой по лбу, чтобы прогнать сон, молодой человек отчетливо почувствовал свежий ветер, создаваемый неизвестно какой косматостью, коснувшейся его щек, и задрожал. Стекла отозвались глухим хлопанием; он подумал, что эта холодная ласка, достойная тайны гробницы, произведена летучей мышью. В течение какого-то момента отражающиеся волны лежали, позволяя ему наблюдать неотчетливые видения, которыми он был окружен; потом весь этот натюрморт исчез в черном оттенке. Ночь, внезапно пришел мертвый час. Он находился с этого момента в нескольких временных кругах, в течение которых у него не было никакого ясного восприятия земных вещей, то есть, или он погрузился в глубокую фантазию, или уступил дреме, провоцируемой усталостью и множеством мыслей, разрывавших его душу. Вдруг он поверил, что позван ужасным голосом, и задрожал, как когда посреди жгучего кошмара мы низвергаемся единственным броском в глубины пропасти. Он закрыл глаза; лучи живого света ослепляли его. Он увидел внутри сумрака красноватой сферы, что ее ядро занимал маленький старик, который держался стоя и направлял на него свет лампы. Он не слышал ни шороха, ни разговора, ни движения. В появлении старика было что-то магическое. Самый

бесстрашный человек, без сомнения, удивился бы ему в своем сне, затрепетал бы перед этим странным персонажем, который, казалось, вышел из соседнего саркофага. Единственно молодость, оживившая неподвижные глаза этого фантома, мешала незнакомцу верить в сверхъестественное явление; однако в течение короткого интервала, отделявшего его сомнамбулическую жизнь от реальной жизни, он оставался в философском сомнении, рекомендованным Декартом и тогда, несмотря на Декарта, оказался под властью необъяснимых галлюцинаций, чьи тайны осуждены нашей гордостью или нашей бессильной наукой, тщетно старающейся анализировать их.

Представьте себе маленького сухого и худого старика, одетого в черное бархатное платье, стянутое вокруг его пояса широким шелковым поясом. На голове — бархатная шапка, тоже черная, позволяющая проходить с каждой стороны его лица широким прядям седых волос, прилегающая к черепу таким образом, что твердо обрамляла лоб. Платье, как огромный саван, скрывало тело и не позволяло видеть никакой иной формы, кроме узкого и бледного лица. Без исхудавшей руки, напоминавшей палку, с помощью которой отмеряют ткань (старик держал ее в воздухе, чтобы поднести к молодому человеку свет лампы), это лицо было, казалось, подвешено в воздухе. Серая, стриженная заостренно борода скрывала подбородок этого странного существа и давала ему явление той иудейской головы, которая обслуживает тип

художников, когда они хотят изобразить Моисея. Губы этого человека были так бесцветны и тонки, что нужно было особенное внимание, чтобы догадаться о линии рта на белом лице. Его широкий морщинистый лоб, его бледные и впалые щеки, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, бедных ресницами и бровями, могли заставить незнакомца поверить, что «Взвешиватель золота» Жерара Доу²³ вышел из своей картинной рамы. Тонкость инквизитора, искаженного извилинами морщин и круговыми складками, нарисованными на висках, обнаруживала знание глубокой науки о вещах жизни. Было невозможно ввести в заблуждение этого человека, казалось, имевшего дар узнавать самые тайные мысли людей. Нравы всех мировых наций и их мудрость соединялись в его холодном лице, как продукты целого мира аккумулируются в пыльных магазинах; вы могли бы прочесть в нем ясное спокойствие Бога, видящего все, или гордую силу человека, видевшего все. Живописец, имея два разных выражения, две попытки кистями, создал бы прекрасный образ Вечного Отца или маску насмешливого Мефистофеля, так как находил во лбу — высшую власть и насмешливость — у его рта. Перемолов все человеческие страдания огромной силой, этот человек должен был убить земные радости.

Готовившийся принять смерть задрожал, представив, что этот старый дух обитает в странной сфере, в мире, где он живет один, без радостей, потому что у него нет больше иллю-

²³ Жерар Доу — французский художник.

зий, без страданий, потому что он больше не знает удовольствий. Старик держался прямо, неподвижно, непоколебимо, как звезда посреди облака света; его зеленые глаза, полные какого-то злого спокойствия, казалось, освещали нравственный мир, как лампа, осветившая светом этот таинственный кабинет.

Таким было странное зрелище, удивившее молодого человека в тот момент, когда он открыл глаза, после того как был убаюкан мыслями о смерти и фантастическими образами. Он оставался словно оглушенным, и, если бы он позволил доминировать вере, достойной детей, слушающих сказки их нянь, нужно было бы объяснить это заблуждение завесой, распростертой над его жизнью, и его способностью к медитации, раздражавшей его возбужденные нервы, способностью к яростной драме, чья сцена пришла к нему, чтобы расточить ужасные наслаждения. Это видение имело место в Париже, на набережной Вольтер, в девятнадцатом веке, во времени и месте, когда волшебство невозможно. Сосед дома, где умер бог французского неверия, последователь Гей-Люссака²⁴ и д'Араго²⁵, созерцатель башен из кубков, созданных людьми власти, незнакомец, без сомнения, подчинился поэтическому очарованию, которое он принял за очарование, к которому прибегают, чтобы убежать от отчаянных истин, словно для того, чтобы проверить власть Бога. Однако

²⁴ Гей-Люссак — французский физик и химик.

²⁵ Франсуа д'Араго — физик, астроном и политический деятель.

он дрожал перед этим светом и этим стариком, необъяснимо волнуясь от необъяснимого предчувствия какой-то странной власти; но эта эмоция напоминала о другой, которую испытывают перед Наполеоном или в присутствии какого-то великого человека, осиянного гением и одетого славой.

— Мосье желает увидеть портрет Иисуса Христа, написанный Рафаэлем? — любезно спросил старик голосом, чья ясная и отрывистая звучность имела что-то металлическое.

Он поставил лампу на расколотую колонну таким образом, что коричневая комната приобрела полную ясность.

При произнесении полных религиозности имен Христа и Рафаэля старик поддался проявлению любопытства, без сомнения, ожидаемого торговцем, который пытался попытаться привести в действие некую пружину. Вдруг панно красного дерева скользнуло в пазы, бесшумно упало и, к восхищению незнакомца, выпустило холст. При виде этого бессмертного творения Рафаэль Валантен забыл фантазии магазина, капризы своего видения и снова стал человеком, узнав в старике творение из плоти, очень живое, отнюдь не фантазмагоричное, и снова зажил в реальном мире. Тихое внимание, спокойная нежность божественного лица тут же оказали на него влияние. Некий аромат излился с небес и развеял inferнальные муки, изнутри сжигавшие его натуру. Голова Спасителя человечества, казалась, вышла из тьмы, обозначенной черной глубиной. Ареол лучей живо сиял вокруг Его волос, откуда соизволял исходить свет; подо лбом, под

плотью была красноречивая серьезность, пронизывающими потоками разлетался каждый штрих; алые губы ложились так, чтобы звучало каждое слово жизни, и зритель искал сакрального отзвука в воздухе, он спрашивал об этом в тишине восхитительные траектории, он слышал их в будущем, находил в уроках прошлого. Евангелие было переведено восхитительной простотой обожаемых глаз, где укрывались сомневающиеся души; наконец, Его религия вся целиком читалась в великолепной, пленительной улыбке, которая, казалось, выражала заповедь, где она формулировала: «*Любите друг друга!*» Эта живопись вдохновляла молитву, подсказывала прощение, душила эгоизм, пробуждала все спящие добродетели. Разделив привилегию очарования с музыкой, произведение Рафаэля бросало вас в имперское очарование воспоминаний, его триумф был полным, вы уже забывали о художнике. Очарование света еще воздействовало на это чудо; моментами казалось, что голова устремляется вдаль, внутрь какого-то облака.

— Я покрыл этот холст золотыми монетами, — холодно сказал торговец.

— О! Все ж, настанет час смерти, — воскликнул молодой человек, выйдя из состояния мечтательности, и последняя мысль возвратила его к собственной роковой участи, заставив спуститься путем бесчувственных размышлений к последней надежде, с которой он себя связал.

— Ах! ах! у меня есть причина не доверять тебе! — отве-

тил старик, схватив обе руки молодого человека, которые он сжал своими запястьями, как тисками.

Незнакомец из презрения печально улыбнулся, тихо сказав:

— Э-э-э, мосье, ничего не бойтесь! Я говорю не о вашей жизни, а о своей. Почему я не могу признаться в невинном обмане? — спросил он после того, как старик обеспокоенно посмотрел на него. — В ожидании ночи, в которую я без скандала утоплю себя, я пришел посмотреть на ваши богатства. Кто не простил бы это последнее удовольствие человеку науки и поэзии?

Подозрительный торговец, слушая его речь, мудрым взглядом окинул мрачное лицо мнимого покупателя.

Сразу успокоившись из-за интонации страдальческого голоса, прочитав, может быть, в этих бесцветных чертах злую судьбу, недавно заставившую содрогнуться игроков, он опустил руки; но с жестом подозрения, который оправдывал опыт, по крайней мере, столетия, он небрежно простер руку к буфету, словно чтобы опереться, и сказал, беря в руки перо:

— Вы в течение трех лет в свободное время бесплатно сторожили сокровища?

Незнакомец не мог удержаться от улыбки, сделав отрицательный жест.

— Ваш отец слишком живо упрекнул вас за то, как вы пришли в мир и опозорились?

— Если бы я хотел опозорить себя, я бы жил дальше.

— Вас освистали в «Канатоходцах»²⁶ или вам требуется много денег, чтобы оплатить похоронную процессию своей любовницы? Не охвачены ли вы золотой лихорадкой? Хотите ли вы разогнать скуку? Наконец, какое заблуждение обязывает вас к смерти?

— Не ищите источника моей смерти в вульгарных причинах, которые управляют большей частью самоубийств. Чтобы освободить меня от разглашения неслыханных страданий, которые трудно выразить человеческим языком, я вам скажу, что я в самой глубокой, в самой отталкивающей, в самой пронизывающей из всех невзгод. И, — добавил он тоном голоса, опровергающим предыдущие слова, — я не хочу просить ни о помощи, ни об утешениях.

— Э-э, эх! — эти два слога, произнесенные стариком, сначала зазвучали, словно напоминая звук трещотки. Потом он продолжил: — Не заставляя вас умолять меня, без того чтобы вы краснели, не дав вам ни французской монеты, ни леванской, ни сицилийского тари, ни немецкого геллера, ни одного сестреция или обола древнего мира, или нового пиастра, не предложив вам ни золота, ни серебра, ни ценных бумаг, ни банковских билетов, я хочу сделать вас более богатым, более властным, более уважаемым, каким не бывает даже конституционно избранный король.

²⁶ Funambules («Канатоходцы») — французский театр 19 века, открытый на бульваре Тампль в Париже.

Молодой человек по-детски поверил старику и молчал, не смея ответить.

— Повернитесь, — сказал старик, схватив вдруг лампу, чтобы бросить свет на стену, на которой располагался портрет, — и посмотрите на эту ШАГРЕНЕВУЮ КОЖУ, — добавил он.

Молодой человек порывисто поднялся и с удивлением увидел на стене, над местом, где он сидел, кусочек шагрени, прицепленный к стене, чей размер не превышал лисью шкурку. Но по необъяснимому феномену, на первый взгляд, эта кожа обдавала глубокую темноту, царствовавшую в магазине лучами такой светосилы, что вы могли бы сказать о маленькой комете. Недоверчивый юноша приблизился к так называемому талисману, который должен был спасти его от несчастья, и мысленно позабавился этим сильно подействовавшим предсказанием. Однако, движимый более законным любопытством, он склонился, чтобы попеременно посмотреть со всех сторон, и сразу открыл естественную причину этой поразительной ясности; черные грани шагрени были тщательно отполированы и так хорошо блестели, что непостоянные полосы на ней были чисты и четки, подобно граням граната; шершавость этой восточной кожи формировала много маленьких фокусов, живо отражавших свет. Он математически раскрыл причину этого феномена старика, в ответ на все гипотезы только с хитростью ему улыбнувшегося. Эта улыбка превосходства заставила ученого юношу по-

верить, что он обманут каким-то шарлатанством. Он не хотел брать с собой в могилу странную загадку, и он живо перевернул кожу, как ребенок, спешащий узнать секрет своей новой игрушки.

— Ах! ах! — воскликнул он, — вот знак, который жители Востока называли Соломоновой печатью!

— Итак, Вы узнаете ее? — спросил торговец, чьи ноздри два или три раза вдувались воздухом, живописуя больше мыслей, чем могли выразить самые энергичные слова.

— Неужели существует ли в мире простака, верящий в подобную химеру? — воскликнул молодой человек, задетый приглушенным и полным насмешливой горечи смехом старика. — Не знаете ли вы, — добавил он, — что суеверие Востока посвящено мистической форме и лживому характеру этого знака, воплощающего сказочную власть? Я не думаю, что следует облагать налогом глупость в этих обстоятельствах, как если бы я говорил о Сфинксах или Гриффонах, чье существование допустимо наукой.

— Потому что вы востоковед, — продолжил старик, — может быть, вы так интерпретируете эту сентенцию.

Он поднес лампу к талисману, который молодой человек держал перевернутым, и позволил тому разглядеть характер инкрустаций в клеточной ткани этой чудесной кожи, как если бы они были сделаны благодаря животному, которому некогда принадлежали.

— Признаю, — воскликнул незнакомец, — я не особен-

но догадался, каким технологическим способом так глубоко были нанесены буквы на эту кожу дикого осла.

Он с живостью обернулся к столам, насыщенным диковинными вещицами, его глаза, казалось, искали там чего-то.

— Что вы хотите? — спросил старик.

— Инструмент, чтобы разрезать шагрень, чтобы увидеть, есть ли там буквы, отпечатанные или инкрустированные.

Старик предоставил молодому человеку свой стилет, чтобы тот надрезал кожу прямо в том месте, где находились написанные слова, но, когда он извлек маленький слой кожи, буквы снова появились там же, отчетливые и настолько соответствующие тем, отпечатанным на поверхности, что на мгновение он поверил, что ничто не отнято.

— Промышленность Ливана имеет по-настоящему особенные секреты, — сказал юноша, с беспокойством оглядывая восточную надпись.

— Да, — ответил старик, — лучше браться за людей, чем за Бога!

Таинственные слова были расположены следующим образом. Для тех, кто хочет произнести это по-русски:

ЕСЛИ ТЫ МНОЙ ВЛАДЕЕШЬ, ТЫ ВЛАДЕЕШЬ ВСЕМ.
НО ТВОЯ ЖИЗНЬ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ. БОГ
ТАК ЗАХОТЕЛ. ПОЖЕЛАЙ, И ТВОИ ЖЕЛАНИЯ
БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ. НО ПРАВИЛО
ТВОИХ ЖЕЛАНИЙ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ.
ОНА ЗДЕСЬ. С КАЖДЫМ

ЖЕЛАНИЕМ Я БУДУ УМЕНЬШАТЬСЯ,
КАК ТВОИ ДНИ.
ХОЧЕШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?
ВОЗЬМИ. БОГ
ОТВЕТИТ ТЕБЕ.
ДА БУДЕТ ТАК!

— Ах! вы свободно читаете на санскрите! — сказал старик. — Может быть, вы путешествовали в Персию или в Бенгалию?

— Нет, мосье, — ответил молодой человек, с любопытством щупая эту символическую кожу, достаточно напоминающую лист металла, с его малой гибкостью.

Старый торговец вернул лампу на колонну, где он ее взял, бросив на молодого человека взгляд, с отпечатком холодной иронии, казалось, говоривший: «Он и не думает больше умирать».

— Это шутка, эта мистификация? — спросил юный незнакомец.

Старик покачал головой и серьезно сказал:

— Я не буду вам отвечать; я предлагал ужасную власть, которую дает талисман людям, одаренным большей энергией, чем вы можете вообразить; но все высмеивали его проблематичное влияние, которое будет оказываться на их будущую судьбу, никто не хотел рисковать собой, заключая этот контракт, роковым образом предлагаемый неизвестной властью. Я думаю, как они, я сомневаюсь, я воздерживаюсь и...

— И вы даже не попытались? — сказал молодой человек, прервав его.

— Пытаться? — воскликнул старик. — Если бы вы находились на Вандомской колонне, попытались бы вы броситься с нее в воздух? Можем ли мы остановить течение жизни? Может ли человек расщепить смерть? Перед тем как вы вошли в этот кабинет, вы хотели покончить с жизнью; но вдруг вас заняла тайна, и вы отвлеклись от смерти. Дитя! Каждый из ваших дней, не предложит ли вдруг странность более интересную, чем эта? Послушайте меня. Я видел беспутный двор регента. Как вы, я тогда был в нищете, подаванием я выпрашивал хлеб; и все же я достиг возраста ста двух лет и стал миллионером; несчастье дало мне богатство, невежество меня выучило. Словами я немного передам вам великую тайну человеческой жизни. Человек инстинктивно истощается двумя актами, которые составляют источники его существования. Два глагола выражают все формы, которые являются двумя причинами смерти: *хотеть* и *мочь*. Между этими двумя основами человеческого действия есть другая формула, которой пользуются мудрые: я обязан ей счастьем и моим долголетием. *Желание* нас сжигает и *Власть* нас разрушает; но *Знание* дает нашему слабому существу бесконечное состояние спокойствия.

Так желание или хотение умирают во мне, убитые мыслью; движение или действие повелевают естественной игрой моих органов. В двух словах, я поместил мою жизнь не в

сердце, которое бьется, не в чувства, которые притупляются; но в голову: она не ветшает, не изнашивается, а потому переживает всё. Ничто чрезмерное не задевает ни моей души, ни моего тела. Однако я видел целый мир; мои ноги истоптали самые высокие горы Азии и Америки; я узнал все человеческие языки; я жил под всеми режимами; я кредитовал мои деньги китайцу, взяв в залог тело его отца; доверившись словам, я спал в палатке араба; я подписывал контракты со всеми европейскими столицами; я позволил себе не бояться за мое золото в вигваме дикарей; наконец, я всего добился, потому что умел все презирать. Моим единственным стремлением было желание видеть. Видеть — не есть ли это знать? О! Знать, молодой человек, не есть ли интуитивно играть? Не значит ли это открыть вещество и фактически завладеть им? Что остается от материального владения? Мысль. Оцените тогда, насколько прекрасной должна быть жизнь человека, который может отпечатать все реальности в своей мысли; перенести в свою душу источники радости, извлечь тысячи идеальных наслаждений, очищенных от земного позора. Мысль — это ключ ко всем сокровищам, она обеспечивает радости скупому, не создавая ему забот. Кроме того, я парил в мире, где мои удовольствия всегда были интеллектуальными. Моими кутежами было созерцание морей, народов, лесов, гор! Я видел все, но спокойно, без усталости; я никогда ничего не желал, я всего этого ждал; я прогуливался по земному шару, как по саду, возле жилища, которое при-

надлежит мне. То, что люди называют печалью, любовью, амбициями, неудачами, тоской, для меня было мыслями, которые я преображал в мечты; вместо того чтобы чувствовать, я выражал их, я переводил их; вместо того чтобы позволить им пожрать мою жизнь, я драматизировал их, я развивал их, я веселился ими, как романами, прочитанными моим внутренним оком. Никогда не уставая моими органами, я играл неутомимым здоровьем; моя душа наследовала все силы, которыми я не злоупотреблял; эта голова еще лучше оснащена, чем мои прилавки. Там, — сказал он, ударив себя по лбу, — там собраны настоящие миллионы. Я проводил упоительные дни, бросая умный взгляд в прошлое, я охватывал целые страны, стороны света, виды Океана, прекрасные исторические лица! У меня имелся воображаемый гарем, где я обладал всеми женщинами, которых у меня не было. Часто я заново проживал множество войн, революций, и я судил их. О! это как предпочесть лихорадочный, легкий восторг более или менее раскрашенной плотью, более или менее круглыми формами! Как предпочесть крах ваших обманутых желаний высшей области, сравнив мироздание в себе с огромным удовольствием двигаться, будучи ничем не связанным: ни местом, ни временем, ни путями пространства, наслаждение все обнять, все увидеть, склониться к краю мира, чтобы поговорить с другими сферами, чтобы услышать Бога! Это, — сказал он громогласным тоном, показывая на Шагрене-вую Кожу, — есть *власть и желание*, собранные воедино.

Там ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваши невоздержанности, ваши радости, которые убивают, ваши слишком живые страдания; ибо зло — всего лишь грубое наслаждение. Кто может определить момент, когда наслаждение становится злом, и момент, когда зло еще наслаждение? Самые живые огни идеального мира только ласкают взгляд, тогда как самая мягкая физическая тьма мира всегда ранит. Не приходит ли слово Мудрости из знания? И разве не безумны избыток желания или власти?

— Э-э, ладно, да, я хочу жить с избытком, — сказал незнакомец, хватая Шагреневую Кожу.

— Берегитесь, молодой человек, — с невероятной живостью сказал старик.

— Я заключил мою жизнь между наукой и мыслью, но они меня не насытили, — ответил незнакомец. — Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга, ни восточным вашим амулетом, ни милосердными усилиями, которые вы делаете, мосье, чтобы вернуть меня в свет, где мое существование за пределами возможного. Увидим, — добавил он, дрожащей рукой сжав талисман и посмотрев на старика. — Я хочу восхитительного королевского обеда, какой-нибудь вакханалии, достойной века, где всё, говорят, совершенно! Чтобы мои гости были юны, духовны и без предрассудков, радостны до безумия! Чтобы вино всегда случилось самым острым, самым игристым, и пусть его сила опьяняет нас три дня! И чтобы ночь украшали пылкие женщины!

Я хочу, чтобы гудящий и бредовый Разврат захватил нас на колесницу с четырьмя лошадьми, поверх границ мира, чтобы мы наслаждались незнакомыми пляжами: поднимутся ли души в небеса или нырнут в грязь, не знаю, поднимутся они или опустятся, это мне неважно! Итак, я заказываю эту роковую власть, которая растопит для меня все радости в едином наслаждении. Да, перед тем как умру, мне необходимо одним объятием обнять удовольствия неба и земли. Также после питья и песен желаю я античных приапей, пробуждающих мертвых; троекратных поцелуев, поцелуев без конца, чей шум проходит через Париж, как треск пламени, пробуждающий жен и вдохновляющий их жгучую пылкость, омолаживающих даже семидесятилетних!

Взрыв смеха изошел из рта маленького старика, раздавшись в ушах молодого безумца, как адский звон; и юноша посмотрел на него так деспотически, что тот замолчал.

— Поверили, — произнес торговец, — что мои полы откроются вдруг, чтобы дать проход роскошно сервированному застолью и гостям из другого мира? Нет, нет, молодой одурманенный. Вы подписали договор: все сказано. Теперь ваши стремления будут скрупулёзно удовлетворены, но в зависимости от вашей жизни. Круг ваших дней будет отражаться на этой Коже, она будет уменьшаться, согласно силе и числу ваших желаний, начиная с самого легкого до самого исключительного. Брахман²⁷, которому я обязан этим талис-

²⁷ Брахман — представитель высшей касты в Индии.

маном, объяснил мне, что талисман занимается таинственным, в соответствии с судьбой и желаниями владельца. Ваше первое желание вульгарно, я мог бы реализовать его, но я оставляю заботу о нем событиям вашего нового существования. После всего вы захотите умереть? Э-э-э, хорошо, ваше самоубийство не опоздает.

Незнакомец, удивленный и почти раздраженный тем, что все время видит подшучивающего над ним необычного старика, чье полуфилантропическое стремление показалось ему ясно раскрытым в этой последней насмешке, воскликнул про себя: «Я хорошенько проверю, мосье, если мое материальное положение изменится в течение того момента, пока я преодолею ширину набережной. Но, если вы забавляетесь над несчастным, я желаю отомстить таким же роковым образом, чтобы вы внезапно влюбились в танцовщицу! Тогда вы поймете счастье расточительства, и, может быть, вы станете щедро раздавать все ваше добро, о котором вы так философски заботитесь».

Он вышел, не услышав великого вздоха, который издал старик, пересек залы и спустился по лестницам этого дома, следуя за высоким толстошеким гарсоном, который тщетно хотел посветить ему; он убежал со скоростью вора, пойманного с поличным. Слепленный чем-то вроде исступления, он даже не заметил невероятной пластичности Шагреневой Кожи, ставшей мягкой, как перчатка, которая скрутилась под нервными пальцами и смогла поместиться в карма-

не своего владельца, куда он ее положил почти машинально. Отворив дверь магазина, выходящую на шоссе, он натолкнулся на трех молодых людей, державшихся за руки.

— Животное!

— Дурак!

Таковы были любезности, которыми они обменялись.

— Э-э! Да это Рафаэль.

— Хорошо, мы искали тебя.

— Что? Это вы?

Эти три дружеские фразы случились после оскорбления, как только свет уличного фонаря, качаемого ветром, осветил лица этой удивительной группы.

— Мой дорогой друг, — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он чуть не сбил с ног, — ты пойдешь с нами.

— Но о чем речь?

— Я расскажу тебе о деле по дороге.

Неохотно или по доброй воле Рафаэль в окружении своих друзей пошел, влившись в их радостный союз, двигаясь через Мост Искусств.

— Мой дорогой, — сказал оратор, продолжая, — мы преследовали тебя почти в течение целой недели, а в твоём respectable особняке Сен-Кантен, чья несъемная входная вывеска предлагает попеременно черные и красные буквы, как во времена Руссо, твоя Леонарда сказала нам, в что в июне ты уехал в свою деревню. Между тем, конечно, мы не похожи на людей с деньгами, судебных приставов, кредито-

ров, торговую охрану и так далее. Неважно! Растиньяк тебя заметил накануне у Буффонов²⁸, и мы набрались смелости, увлеченные самолюбием, хотели открыть, не живешь ли ты на деревьях Елисейских полей, или не спишь ли за два су в филантропическом доме, где спят нищие, поддержанные натянутыми струнами, или, если ты более счастлив, не размещается ли твой бивуак в каком-то будуаре. Мы нигде не встречали тебя: ни среди заключенных в Сен-Пелажи²⁹, ни в Крепости! Министерства, Опера, монастырские дома, кафе, библиотеки, списки префекта, журналистское бюро, рестораны, фойе театра, — короче, все хорошие и плохие места Парижа были искусно исследованы; мы вздыхали от потери достаточно одаренного гением человека, который мог бы обрести и королевский двор, и тюрьму. Мы говорили о тебе и славили тебя как героя Июля³⁰! И, мое слово чести, мы сочувствовали тебе.

В этот момент Рафаэль проходил с друзьями через Мост Искусств, где, не слушая своих друзей, он посмотрел на Сэну, чьи ревущие воды повторяли огни Парижа. Поверх этой реки, в которую он еще недавно хотел низвергнуться, предсказания старика были выполнены. Час смерти неизбежно отложился.

— Мы по-настоящему сочувствовали тебе! — сказал ему

²⁸ Имеется в виду театр.

²⁹ Парижская тюрьма с 1790 по 1899 гг.

³⁰ Речь идет об участии в Июльской революции в 1830 году.

друг, продолжая свою мысль. — Возникла ситуация, в которой мы осознали в тебе качества особенного человека; так говорят о человеке, который умеет поставить себя над всем. Отказ от конституционного мускатного ореха под королевским кубком сегодня, мой дорогой, более важен, чем когда-либо. Печально известная Монархия, низвергнутая народным героизмом, была непристойно жившей женщиной, с которой можно смеяться и развлекаться; но Родина — это сварливая и добродетельная жена, от которой волей-неволей мы принимаем сдержанные ласки. Или, наконец, власть переносится, как ты знаешь, из Тюильри к журналистам, как бюджет переменял квартал, проходя от пригорода Сен-Жермен к Шоссе-Дантен. Но вот что ты, может быть, не знаешь! Правительство, то есть аристократия из банкиров и адвокатов, создает сегодня родину, как священники участвовали некогда в создании монархии, чувствуя необходимость морочить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями, как философы всех школ и сильные люди всех времен. Итак, у нас внедряют национальное королевское общественное мнение, доказывая нам, что будешь гораздо счастливее, если заплатишь двенадцать сотен миллионов и тридцать три сантима родине, представленной теми или другими мосье, чем одиннадцать сотен миллионов девять сантимов королю, говорящему «я» вместо «мы». Одним словом, газета, вооруженная двумя-тремя добрыми тысячами франков, будет основана на цели заставить оппозицию

быть довольной недовольными, не причиняя вреда национальному правительству гражданина-короля. Или, поскольку мы забавляемся свободой, как и деспотизмом, религия так же хороша, как неверие; или для нас родина — столица, где все идеи меняются, где все дни побуждают к питательным ужинам, многочисленным спектаклям; где кишат непристойные женщины, ужины заканчиваются только на следующий день, любви приходят вовремя, как горожанки; или Париж будет всегда самой восхитительной из всех родин! Родиной радости, свободы, духовности, красивых женщин, плохих сюжетов, доброго вина, где палка власти никогда не будет слишком чувствоваться, потому что мы рядом с теми, кто ее держит.

Мы, истинные последователи бога Мефистофеля, приняли перекрашивание общественного сознания, исправление актеров, сколачивание новых подмостков в правительственном балагане, лечение доктринеров, прожаривание старых республиканцев, восстановление бонапартистов и обеспечение центров, которые позволят нам мысленно смеяться над королем и народом, чтобы являть вечером наше утреннее мнение; вести радостную жизнь Ля Панурга³¹, или, более по-восточному, лежать на мягких подушках. Мы предназначили бразды правления этой макаронически-бурлеск-

³¹ Панург — это один из героев книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В переводе с древнегреческого Ραυιργς (παινοῦργος) — ловкач, хитрец, плут, мошенник.

ной империи тебе; мы берем тебя на обед, данный устрой-
телем упомянутой газеты, отошедшим от дел банкиром, не
знающим, что делать со своим золотом; этим золотом он хо-
чет изменить сознание. Ты будешь там принят, как брат, мы
будем приветствовать тебя как короля фрондерского остро-
умия, того, кто ничего не ужасается, чья проницательность
открывает стремления Австрии, Англии или России, до того,
как у России, Англии или Австрии эти стремления появят-
ся! Да, мы сделаем тебя владыкой умственной власти, под-
держиваемой в свете Мирабо, Талейраном, Питтом, Меттер-
нихом³², наконец, этими дерзкими Криспенами³³, между со-
бой играющими судьбами империи, как дурные люди игра-
ют в домино на церковную святую воду³⁴. Мы имеем в тебе
самого неутомимого товарища, который никогда не схваты-
вался с Развратом врукопашную, с этим восхитительным чу-
довищем, с которым хотят бороться все, сильные духом! Мы
даже утверждаем, что он еще не был побежден. Я надеюсь,
что ты не дашь исказить наши похвалы. Тайеферу³⁵, наше-

³² Мирабо — французский политический деятель и оратор. Талейран — фран-
цузский дипломат. Питт Уильям младший — противник Французской револю-
ции, политик, сторонился коррупции в целях личного обогащения. Меттерних
— противник французской революции, канцлер Австрии.

³³ Криспен — персонаж, слуга, хитрый, неуклюжий, из пьесы Раймонда Пуас-
сона.

³⁴ Здесь игра слов: название игры «домино» соотносится с именем Господа
«Domini» в католической молитве «Angelus Domini».

³⁵ Имя одного из персонажей Тайефера соотносится с немецким именем Черта:
Teufel.

му Амфитриону³⁶, мы обещаем перещеголять тесные сатурналии наших маленьких современных Лукуллов³⁷. Он достаточно богат, чтобы показать величие в малом, элегантность и грацию в пороке. Ты меня слышишь, Рафаэль? — спросил его говорящий, прерываясь.

— Да, — ответил молодой человек, менее изумленный достижением своих желаний, чем удивленный естественностью материи, благодаря которой сцеплялись события; и, хотя ему было невозможно поверить в магическое влияние, он восхитился случайностью человеческой судьбы.

— Но ты сказал «да», как если бы ты думал о смерти твоего дедушки, — проговорил один из молодых людей.

— Ах! — наивным тоном возразил Рафаэль, привыкший смеяться над этими писателями, надеждой юной Франции, — я думаю, друзья мои, что вот мы с вами готовы стать большими мошенниками. До настоящего момента мы грешили между двумя винами, мы ценили жизнь через опьянение, мы ценили людей и вещи, тщательно усваивая их; фактически невинные, мы были дерзки на словах; но теперь, отмеченные горячим железом политики, мы войдем в эту гигантскую баню и потеряем наши иллюзии. Когда верят только в дьявола, он позволяет сожалеть о рае юности, о времени невинности, когда мы набожно стремились к языку доброго священника,

³⁶ Амфитрион — древнегреческий персонаж, который благодаря пьесам Плавта и Мольера стал воплощением человека, охотно принимающего у себя гостей.

³⁷ Луций Лициний Лукулл — римский военачальник и политик.

чтобы получить святое тело Иисуса Христа. Ах, мои добрые друзья, если мы имели удовольствие, учиняя наши первые грехи, это потому, что у нас были угрызения совести, мы хотели скрасить их, придать им пикантности, вкуса, тогда как теперь...

— О! теперь, нам остается... — продолжил первый собеседник.

— Что? — спросил другой.

— Преступление.

— Вот слово, которое дает всю высоту возможностей и всю глубину Сэны, — проговорил Рафаэль.

— О! ты меня не слышишь. Я говорю о политических преступлениях. В течение сегодняшнего утра я желал только существования заговорщика. Я не знаю, продлится ли моя фантазия завтра, но в этот вечер бледная жизнь нашей цивилизации, единая, как железнодорожные пазы, заставляет мое сердце вздрогнуть от разочарования. Я страстно влюблен за несчастья в бегство из Москвы³⁸, за эмоции «Красного Корсара»³⁹, в существование контрабандистов, потому что во Франции нет больше Шартреза⁴⁰, я хочу, по крайней мере, un Botany-Bay, «Ботанического залива», своего рода лазарета, предназначенного для маленьких лордов Байронов, по-

³⁸ Имеется в виду бегство французской армии в 1812 году.

³⁹ Видимо, имелся в виду роман Фенимора Купера «Красный корсар», опубликованный в 1827 году.

⁴⁰ Шартрез — французский ликер, изготавливаемый монахами.

сле того как, помятые жизнью, как послеобеденная салфетка, они могут только поджечь страну, сжечь ум, способствовать республике или просить войны.

— Эмиль, — пламенно сказал сосед Рафаэля своему собеседнику, верующий человек, — без июльской революции я сделался бы священником, чтобы вести животную жизнь в глубине какой-нибудь деревушки и...

— Ты все дни читал бы молитвенник?

— Да.

— Ты тщеславен.

— Мы много читаем газеты.

— Неплохо для журналиста. Но замолчи ты, мы пойдем посреди массы подписчиков. Журналист, видишь ли, это религия современного общества, и есть прогресс.

— Как?

— Ни первосвященники, ни народ больше не держаться веры.

Рассуждая таким образом, как смелые люди, которые в течение многих лет знали *De Viris illustribus*⁴¹, они пришли в особняк на улице Жубер.

Эмиль завоевал больше славы, ничего не делая, чем другие, не извлекая пользы из своего успеха. Дерзкий критик, полный остроумия и язвительности, он владел всеми качествами, в которые входили и его недостатки. Свободный и смешливый, он произносил тысячи эпиграмм в лицо отсут-

⁴¹ Книга, демонстрирующая достижения выдающихся христианских авторов.

ствующего друга, и его же со смелостью и лояльностью он защищал. Он забавлялся всем, даже своим будущим. Всегда без средств, он оставался, как все люди некоторого круга, погруженным в невыразимую лень, бросал книгу на слове под носом у людей, не знавших, куда поставить слова в своих книгах. Расточитель обещаний, никогда не реализуемых, он сделал свое благосостояние и свою славу на подушке для сна, рискуя проснуться стариком в больнице. Кроме того, друг до эшафота, фанфарон цинизма и простоты, как ребенок, он работал только для развлечения или по необходимости.

— Мы устроим, следуя выражению мастера Алькофрибаса⁴², знаменитое пиршество, — сказал он Рафаэлю, показывая на ящики для цветов, которые благоухали и озеленяли лестницы.

— Мне нравится крыльцо, более нагретое и украшенное богатыми коврами, — сказал Рафаэль. — Роскошь перистилля редка во Франции. Здесь я чувствую себя заново родившимся.

— И наверху мы выпьем и еще раз посмеемся, мой бедный Рафаэль. Ах, это! Я надеюсь, мы станем победителями и пройдемся по всем этим головам.

Потом забавным жестом Эмиль показал ему на гостей в углу гостиной, которая сияла от позолоты, света, где их при-

⁴² Алькофрибас Назье — псевдоним Рабле (его очень ценил Бальзак), под которым Рабле опубликовал первые главы своего романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

ветствовали молодые люди, самые заметные в Париже. Один пришел, раскрыв новый талант, конкурирующий первой картиной со славой главного императорского живописца. Другой накануне осмелился на книгу, полную незрелости, с отпечатком литературного презрения, открывавшую в современной школе новые пути.

Дальше — изваяние, чье полная грубости фигура обвиняла энергичного гения, бывшего причиной одной из холодных насмешек, которые, в зависимости от случая, так не хотят видеть превосходства ни в какой области и скоро это повсюду признают. Здесь самый одухотворенный из наших карикатуристов, со злым глазом и язвительным ртом, грозит эпиграммой, чтобы перевести ее в карандашную. Там этот юный и смелый писатель лучше, чем кто-либо изливает квинтэссенцию политических мыслей, или сгущает ум в игре плодотворного писателя, беседуя с поэтом, чьи работы громили бы все произведения настоящего времени, если бы его талант имел силу его ненависти. Оба пытаются не говорить правду и не лгать, адресуясь друг к другу с нежной лестью. Известный музыкант в си бемоле утешает шутливым голосом недавно упавшего с трибуны молодого политика, не сделавшего никакого зла.

Юные авторы без стиля находились рядом с юными авторами без мыслей; прозаики, полные поэзии, рядом с прозаическими поэтами. Видя эти несовершенные существа, бедный сен-симонец, достаточно наивный, чтобы поверить в

свою доктрину, с милосердием соединял их, наблюдая, без сомнения, что они трансформируются в верующих его типа. Наконец, он нашел двух или трех ученых, добавляющих азота в разговор, и несколько водевилистов, готовых броситься туда из-за эфемерных проблесков, кажущихся сиянием алмазов, не дающих ни жаркости, ни света. Некоторые люди парадоксальны, они смеются над плащом людей, соединяя свое восхищение или презрение к людям и вещам, ставшим в этой двуострой политике передним краем, с этими людьми они сговариваются против всех систем, не принимая ничьей стороны.

Осудитель, ничему не удивляющийся, лезет в лицо посреди каватины в театре Буффонов и перед всем светом вызывающе кричит ртам, оспаривая тех, кто предупреждает его мнение, ищет, как бы присвоить себе слова умных людей. Среди этих гостей пять имели будущее и десять должны были добиться пожизненной славы. Что касается других, то они бы могли, как все посредственности, процитировать известное высказывание Луи XVIII: «Сплочение и забвение».

Амфитрион имел заботливую веселость человека, тратившего две тысячи экю; время от времени его глаза направлялись с нетерпением к двери гостиной, он называл того гостя, который ожидался. Вдруг появился толстый маленький человек, которого приветствовали лестным шумом; это был нотариус, который даже утром заканчивал создание газеты. Слуга, одетый в черное, открывал двери в огромную столо-

вую, где каждый без церемоний определял свое место вокруг огромного стола.

Перед тем как покинуть гостиную, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание было, конечно, сложно реализовать; шелк и золото застилали апартаменты; дорогие канделябры поддерживали невероятные свечи, освещавшие самые легкие детали золоченых фриз, хрупкую чеканку бронзы и роскошные цвета мебелировки; редкие цветы в жардиньерках, искусно созданные из бамбука, распространяли нежные ароматы; шторы дышали элегантностью без претензий; все имело какую-то поэтическую грацию, чье очарование воздействовало на человека без денег.

— Сто тысяч ливров ренты — отличный комментарий катехизиса, и мы чудесно претворим мораль в действие! — сказал Рафаэль, вздыхая. — О да, моя добродетель почти не стоит на ногах. Для меня порок — это мансарда, изношенная одежда, зимняя серая шляпа и долги у двери. Ах! я хочу жить в роскоши год, шесть месяцев, неважно! И только после умереть. По крайней мере, я бы истощил, узнал, поглотил тысячи существований

— О! — сказал ему Эмиль, слушая его, — для счастья ты используешь карету маклера. Иди, тебе надоест богатство, и ты узнаешь, что оно отнимет у тебя шанс стать особенным человеком. Разве художник никогда не балансирует между бедностью богатства и богатством бедности? Разве нам не всегда нужна борьба с другими нами? Так приготовь свой

желудок, смотри, — указал он ему величественным героическим жестом, — на трижды святой, евангелический и обнадеживающий внешний вид, который представляет собой бенедиктинская столовая капиталиста. Этот человек там, — продолжил он, — понемногу накапливал деньги для нас. Не есть ли это вид губки, забытый биологами в отряде полипов; перед тем как мы позволим ей быть высосанной наследниками, ее нужно осторожно отжать?

Как ты находишь тип барельефа, декорирующего стены? Люстры, картины, какая хорошо устроенная роскошь! Если верить завистникам и тем, кто наблюдает пружины жизни, этот человек в течение революции убил немца и несколько других людей (один является его лучшим другом, другая — матерью этого друга). Можешь ты дать место преступлениям, вообразив их под седеющими волосами этого почетного Тайефера⁴³? Он выглядит как человек благородный. Но видишь, как блестит столовое серебро, каждый из его сверкающих лучей будет для него ударом кинжала! Но пойдем! стоит поверить в Магомета. Если общество право, вот тридцать человек с сердцем и талантом, которые могли бы съесть внутренности, выпить кровь семьи. И мы двое, молодые люди, полные чистоты и энтузиазма, мы были бы соучастниками злодеяния. Я желаю спросить нашего капиталиста, честный ли он человек.

⁴³ Тайефер Франсуа — французский политик, член парламентской группы Бонапартистов, награжденный орденом Почетного легиона.

— Не теперь! — сказал Рафаэль, — но, когда он будет мертвецки пьян. Давайте ужинать.

Двое друзей сели, смеясь. Сначала скорее взглядом, чем словом, каждый гость заплатил дань восхищения роскоши, всего того, что предлагал широкий стол, белой, как холодно-снежная гробница, скатерти, на которой симметрично поднимались столовые приборы, увенчанные маленькими кусочками белого хлеба. Хрусталь повторял радужные цвета в их звездных отражениях, свечи прочерчивали огоньки, пересекавшиеся друг с другом в бесконечности; блюда, усиливавшие аппетит и любопытство, возвышались под куполами из серебра. Слова звучали достаточно редко. Соседи переглядывались. Текло вино мадеры. Потом во всей своей славе совершился первый вынос блюд; он сделал бы честь огню Камбасереса⁴⁴, и Брийя-Саварен⁴⁵ отпраздновал бы это. Вина Бордо и Бургони, белое и красное, подавались в королевском изобилии. Эта первая часть ужина во всех смыслах была сопоставима с экспозицией классической трагедии. Второй акт становился немного более болтливym. Каждый гость пил, разумно меняя, согласно своим капризам, сорт вина, как и момент, когда он воспользуется всем остальным на этом волшебном застолье; заводились бурные дис-

⁴⁴ Камбасерес Жан Жак Режи де — французский государственный деятель времен Французской революции. Член совета пятисот.

⁴⁵ Брийя-Саварен — французский философ, кулинар, юрист, экономист, политический деятель.

куссии; некоторые лбы покраснели, некоторые носы побагровели, лица светились, глаза искрились. В течение этого начала пьянства речи еще не выходили за рамки приличий, но насмешки и остроты понемногу бежали изо всех ртов. Потом свою маленькую змеиную голову тихо подняла клевета и мелодично заговорила; тут и там несколько хитрецов внимательно слушали, надеясь сохранить свою рассудительность. Однако второй вынос блюд нашел умы вполне разгоряченными. Каждый ел и говорил, говорил во время еды и пил, не следя за избытком жидкости, так что все они сияли и пахли, подобно больным. Тайефер старался расшевелить своих гостей, предлагая им замечательные вина Роны, жаркое «Токайское», старый пьянящий «Русильон». Необузданные, как почтовые лошади, отправляющиеся с известиями от почтой станции, эти люди, подхлестнутые пикантным осадком шампанского, нетерпеливо ожидаемого, но обильно льющегося, позволяли их духу мчаться в пустоту рассуждений без адреса; принимались рассказывать истории, у которых не было слушателя; начинали по сто раз вопросы, остававшиеся без ответа. Единая оргия развернула свой громкий голос, голос, составленный из ста сбивчивых криков, множившихся, как крещендо Россини. Потом пришли коварные тосты, расхо-ды, вызовы на дуэль. Все отреклось от восхваления своих интеллектуальных возможностей, чтобы взять на себя эти тонны, молнии, резервуары. Казалось, каждый имел два голоса. Пришел момент, когда мастера заговорили разом, а слуги

засмеялись. Но это смешение слов, где сомнительно лучившиеся парадоксы, гротеском одетые истины сталкивалось в криках и суждениях собеседников, в суверенных постановлениях и глупостях, как посреди сражения перекрещиваются ядра, пули и картечь, которые, без сомнения, заинтересовали бы какого-то философа неповторимостью мысли или удивили бы политика странностью системы. Это были разом и книга, и картина. Философии, религии, мораль, отличающиеся широтой одна от другой, правительства, — наконец, все великие акты человеческого ума падали под косой, такой же длинной, как Время. Может быть, вам было бы трудно решить, была ли это мания пьяной Мудрости или Опьянение стало мудростью и ясновидением.

Захваченные разновидностью бури, эти духи казались раздраженным против скал морем, желавшим поколебать все законы, между которыми плывут цивилизации, не зная их и надеясь на волю Бога, позволяющего природе добро и зло, храня для себя одного секрет их бесконечной борьбы. Яростная и шутливая, дискуссия делалась разновидностью интеллектуального шабаша. Между печальными шутками, высказанными этими детьми Революции при рождении газеты, все мнения держались радостью пьяниц от рождения Гаргантюа, находились в бездне, отделявшей девятнадцатый век от шестнадцатого. Тот готовил разрушение, смеясь; наш смеялся посреди руин.

— Как вы называете того молодого человека, которого я

вижу вон там? — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. Мне кажется, я слышал имя Валантен.

— Что так коротко вы поете о Валантене? — спросил Эмиль, смеясь. — Рафаэль де Валантен, пожалуйста! Мы носим золотого орла на песчаное поле, коронованное серебряными клювами и красными ногтями, с прекрасным девизом: «Не падай духом!» Ненайденное дитя — потомок императора Валенса, родоначальник Валантенуа, основатель Валенсии в Испании и во Франции, законный наследник Восточной империи. Если мы позволим взойти на трон Махмуду в Константинополе, это из чистой доброй воли, а также из-за недостатка денег и солдат. Вилкой в воздухе Эмиль начертил корону над головой Рафаэля. Нотариус мгновенно сосредоточился и принялся пить, позволив себе подлинный жест, которым он, казалось, признавал, что невозможно присоединить к своим клиентам города Валенсию и Константинополь, Махмуда, императора Валенсии и семью Валентуа.

— Разрушение этих муравейников, называемых Вавилоном, Тюрком, Картажем или Венецией, всегда раздавливаемых ногами гиганта, не будет ли оно предупреждением, данным человеку насмешливой властью? — сказал журналист Клод Виньон, своеобразный раб, купленный, чтобы сделать Босю десять су за строку.

— Моисей, Сулла, Луи XI, Ришелье, Робеспьер и Наполеон были, может быть, даже одним и тем же человеком, прошедшим через цивилизации, как комета сквозь небо! — от-

ветил балланшист⁴⁶.

— Зачем спрашивать Провидение? — спросил Каналис, создатель баллад.

— Пойдем, вот Провидение! — воскликнул судья, прервав его. — Я не знаю ничего в мире более гибкого.

— Но, мосье, Луи XIV уничтожил больше людей, чтобы углубить акведуки Мантенон, чем Конвент, чтобы установить справедливый налог для приведения в единство законы, национализировать Францию и поровну разделить наследство, — произнес Массол, молодой республиканец, ставший республиканцем из-за отсутствия слога «де» перед его именем.

— Мосье, — ответил ему Моро де Луазе, добропорядочный землевладелец, — вы, кто из крови делает вино, на этот раз вы позволите каждому иметь голову на его плечах?

— А что хорошего, мосье? Разве принципы социального порядка не заслуживают каких-то жертв?

— Биксиу⁴⁷! Э-э... Республиканец полагает, что голова этого собственника будет жертвой, — сказал молодой человек своему соседу.

— Люди и события — ничто, — сказал республиканец, развивая сквозь икоту свою теорию. — Только в политике и

⁴⁶ Балланшист — сторонник Балланша. Балланш Пьер Симон — философ-мистик, видевший путь к прогрессу в осуществлении христианских, мистических идеалов.

⁴⁷ Жан Жак Биксиу, персонаж «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака.

в философии есть принципы и идеи.

— Какой ужас! Вы совсем не печалитесь, убивая ваших друзей за одно только...

— Э-э-э, мосье, человек, имеющий угрызения совести, истинный негодяй, — потому что у него есть мысль о добродетели, в то время как Петр Великий, герцог Альба — были системами, а корсар Монбара⁴⁸ — оборудованием.

— Но разве общество не может лишиться ваших систем и оборудования?

— О! согласен! — воскликнул республиканец.

— И ваша глупая республика вызывает у меня отвращение. Нельзя разделить каплуна⁴⁹, не найдя внутри аграрного закона!

— Твои принципы превосходны, мой маленький, Брутус, фаршированный трюфелями. Но ты напоминаешь мне моего слугу: глупец так жестко овладевает манией чистоты, что, если бы я позволил ему почистить мою одежду, согласно его представлениям, то остался бы голым.

— Вы негодяи! Вы хотите вычистить зубочисткой нацию! — ответил республиканец. — Если послушать вас, правосудие более опасно, чем воры.

— Хе-хе, — сказал Дерош.

— Как они скучны с их политикой, — сказал нотариус

⁴⁸ Даниэль Монбар, французский буканьер 17 века по прозвищу Монбар Истребитель. Действовал против испанцев.

⁴⁹ Каплун — петух, мясо петуха, используемое в кулинарии.

Кардо. — Закройте дверь. Нет науки или добродетели, стоящих капли крови. Если бы мы хотели ликвидировать истину, может быть, мы нашли бы ее банкротом.

— Ах, ему без сомнения легче развеселить нас, говоря о зле, чем споря о добре. И, я отдал бы все речи, произнесенные с трибуны в течение сорока лет, за форель, за одну сказку Шарля Перро или набросок Шарле⁵⁰.

— Вы имеете право. Положите мне спаржу. Так как, после всего, свобода порождает анархию, анархия ведет к деспотизму, а деспотизм возвращает свободу. Миллионы погибли, не имея возможности триумфа ни в одной из систем. Не есть ли это порочный круг, в котором постоянно вращается нравственный мир? Когда человек верит, что достиг совершенства, он просто переставляет вещи.

— О! О! — воскликнул Курси, водевилист, тогда, мосье, я поднимаю тост за Карла X, отца свободы!

— Почему нет? — сказал Эмиль. — Когда деспотизм в законе, свобода — в нравах и наоборот.

— Итак, выпьем за дураков власти, которые нам дают столько власти над дураками! — сказал банкир.

— Э-э, мой дорогой, по крайней мере, Наполеон нам оставил славу! — воскликнул морской офицер, никогда не покидавший Бреста.

— Ах, слава, печальный продукт потребления. За нее до-

⁵⁰ Николя-Туссен Шарле — французский художник, живописец, график, баталист, акварелист. Был очень популярен.

рого платишь, и ее невозможно сохранить. Не будет ли она высшей точкой эгоизма для великих людей, как счастье для дураков?

— Мосье, вы очень счастливы.

— Первый, кто изобрел неравенство, был несостоятельным человеком, так как общество пользуется жалкими людьми. Размещенные на двух концах нравственного мира, дикарь и мыслитель в равной степени ужасны для собственногоника.

— Красота! — воскликнул Кардо. — Если бы не собственники, как бы вы составляли акты?

— Вот фантастически вкусный горошек!

— И кюре завтра найдет смерть в своей постели...

— Кто говорит о смерти? Не веселитесь. У меня есть дядя.

— Вы, без сомнения, смиритесь с этой потерей.

— Это не вопрос.

— Послушайте меня, мосье! СПОСОБ УБИЙСТВА СВОЕГО ДЯДИ. Тише! (Послушайте, послушайте). Пусть он сначала потолстеет и разжиреет, и, по крайней мере, лет в семьдесят, это будет лучший из дядь. (Предложение.) Сделайте для него под каким-нибудь предлогом паштет фуа гра.

— Хм, мой дядя высокий, сухой, скупой и трезвый.

— Ах, такие дяди — чудовища, злоупотребляющие жизнью.

— И, — сказал один из собеседников, продолжая о дядях, — объявите ему, пока он ест, о крахе его банкира.

— А если он устоит?

— Тогда впустите к нему красивую девушку!

— А если он... — сказал тот, сделав отрицательный жест.

— Тогда это не дядя, дядя, это, главным образом, весельчак.

— Голос Малибрана потерял две ноты.

— Нет, мосье.

— Да, мосье.

— О! О! Да или нет, не есть ли это история всех религиозных, политических, литературных исследований? Человек — это шут, танцующий над пропастью.

— Послушать вас, я глупец.

— Напротив, это потому, что вы меня не слушали.

— Инструкция, прекрасная глупость! Мосье Гейнеффет-термах нанес множество томов, отпечатанных в количестве более миллиарда, а человеческая жизнь не позволит прочитать сто пятьдесят тысяч. Тогда объясните мне, что значит слово «*просвещение*»? Для одних оно состоит из знания имен лошадей Александра⁵¹, собаки породы боксер Бересильо господина Даккорда и игнорирует тех из людей, кому мы обязаны лесосплавом или фаянсовым заводом. Для других быть образованным — знать, как горит завешание, и жить в честных людях, любимыми, уважаемыми, вместо того чтобы в очередной раз красть часы с пятью отягчающими обстоятельствами и идти умирать на Гревскую площадь ненавиди-

⁵¹ Вероятно, речь идет об Александре Македонском, выдающемся полководце.

мым и опозоренным.

— А Ламартин⁵² останется?

— Ах! Книжник хорош в уме!

— А Виктор Гюго?

— Это великий человек, о нем не будем больше говорить.

— Вы пьяны.

— Немедленное последствие конституции — это уплощение, нивелирование интеллигенции. Искусство, науки, монумены — все это пожирается ужасающим чувством эгоизма, это наша сегодняшняя зараза. Ваши триста буржуа сидят на банкетках, думая только о том, как посадить тополя.

Деспотизм незаконно творит великие вещи, свобода даже не трудится над тем, чтобы на законных основаниях сделать малое из очень малого.

— Ваше взаимное образование создает монету из ста су в человеческой плоти, — сказал абсолютист, прервав его. — Индивидуальность исчезает у народа, нивелируясь инструкцией.

— Но не есть ли цель общества — дать каждому благосостояние? — спросил сен-симонец.

— Если бы у вас было бы пятьдесят тысяч ливров ренты, вы бы почти не думали о народе. Вы охвачены прекрасной

⁵² Ламартин — один из крупнейших поэтов французского романтизма. Во время революции 1848 года во Франции станет министром иностранных дел, будет участвовать в выборах на пост президента Франции, проиграет выборы Луи Наполеону Бонапарту. Роман «Шагреновая кожа» был опубликован до этих событий, в 1830—1831 гг.

страстью к человечеству; вы едете на Мадагаскар: находите там красивый маленький народ, весь обновленный в духе сен-симонства, классифицированный, помещенный в банку; но здесь каждому естественно быть в своей ячейке, как лодыжке в своей ямке. Портье здесь портье, а глупцы — животные, без необходимости быть выпускниками коллежа Пере. Ах! Ах!

— Вы карлист⁵³!

— Почему нет? Мне нравится деспотизм, он заявляет о некотором презрении к человеческому племени. У меня нет ненависти к королям. Они так веселы! Сидеть на троне в комнате, в тридцати миллионах лье от солнца все же ничего?

— Но, если резюмировать этот широкий взгляд на цивилизацию, — сказал ученый, который после слов невнимательного скульптора направил дискуссию к началу общества и коренных народов, — первоначально сила наций была в некой грубой материи; потом, с увеличением статистических вычислений, правительства действовали через большую или меньшую ловкость примитивной власти. Так, на высоте античности сила была в теократии; священник держал меч и курильницу. Позже появились два духовенства: понтифик и король. И сегодня наше общество, последний срок цивилизации, распространяет власть, следуя числу комбинаций, секретных замков, и теперь мы пришли к силам, на-

⁵³ Карлисты в Испании выступали за сохранение абсолютной монархии, защищали права Дона Карлоса на испанский престол.

зываемым промышленностью, мыслями, деньгами, словом. Власть, не имевшая единства, непрестанно идет к социальному растворению, она не имеет иного барьера, чем интерес. Так мы не опираемся ни на религию, ни на материальную силу, но только на интеллект. Хочет ли книга быть мечом, а дискуссия — действием? Вот проблема.

— Интеллект все убивает, — воскликнул карлист. — Идите, абсолютная свобода ведет нации к самоубийству. Они скучают в триумфе, как английский миллионер.

— Что мы можем сказать вам нового? Сегодня вы смеесть над властями, это такая же вульгарная вещь, как отрицание Бога! У вас нет больше веры. И век похож на старого, потерявшегося от разврата султана. Наконец, ваш лорд Байрон, в последнем отчаянии поэзии, пел страсть преступления.

— Знаете ли вы, — ответил ему полностью пьяный Бьяншон, — что доза фосфора делает человека более или менее гением или негодяем, умным или идиотом, добродетельным или преступником?

— Можем ли мы так рассматривать добродетель! — воскликнул Курси. — Добродетель — сюжет всех театральных пьес, затрата всех драм — базируется на наших судах.

— Э! Замолчи ты, животное. Твоя добродетель — это Ахилл без пятки, — сказал Биксиу.

— Выпьем!

— Хочешь поспорить, что я выпью в одним махом бутыл-

ку шампанского?

— Какая духовная характеристика! — воскликнул Биксиу.

— Они пьяны, как извозчики, — сказал молодой человек, позволивший серьезно выпить своему жилету.

— Да, современное правительство есть искусство царствования общественного мнения.

— Мнение? Но это самая порочная из всех проституций! Вы слышите, людям нравственности и политики нужно беспрестанно предпочитать ваши законы природе, мнение — сознанию. Пойдемте, всё истинно и всё ошибочно! Если общество дало нам пух подушек, оно, безусловно, по капле компенсировало благодетяние, как оно создает процедуру, чтобы умерить правосудие, а насморк — следствие кашемировых шалей.

— Чудовище! — сказал Эмиль, прерывая мизантропа. — Как можешь ты в присутствии вина, с такими превосходными блюдами, со столом до подбородка, злословить по поводу цивилизации? Откусывай эту косулю с ногами и золотыми рогами, но не кусай твою мать.

— Это моя оплошность, моя. Если католицизм придет устанавливать миллион богов в мешке с мукой, если республика всегда заканчивается каким-нибудь Робеспьером, если королевская власть окажется между убийством Генри IV⁵⁴ и

⁵⁴ Генри IV — король Франции с 1589 года, Генрих Наваррский, был убит 14 мая 1610 года фанатиком Франсуа Равальяком.

судом Луи XVI⁵⁵, если либерализм станет Лафайетом⁵⁶?

— Вы обниметесь в июле?

— Нет.

— Тогда молчите, скептик.

— Скептики — люди самые сознательные.

— Они не имеют убеждений.

— Что скажете вы? Их, по крайней мере, двое.

— Учитывайте небо, мосье, вот истинно коммерческая мысль; античные религии были лишь счастливым проявлением физических удовольствий; но мы другие, мы развиваем душу и надежду; есть прогресс.

— Эх, мои дорогие друзья, чего вы можете ждать от века, пресыщенного политикой, — сказал Натан. Какой была бы судьба Смарра⁵⁷, самое восхитительное решение...

— Смарра! — воскликнул судья с одного края стола дру-

⁵⁵ Луи XVI — последний французский король династии Бурбонов. При нем началась Великая Французская революция. Стал конституционным монархом, но впоследствии был предан суду и казнен на гильотине.

⁵⁶ Лафайет был участником трех революций: американской, Великой французской революции и революции 1830 года. Лафайет считается символом борьбы за свободу. Почетный гражданин Соединенных Штатов. В данном контексте важно, что Лафайет во время революции 1830 г. способствовал появлению на престоле Луи Филиппа Орлеанского, так как был сторонником конституционной монархии.

⁵⁷ Герой книги Шарля Нодье «Смарра, или Демоны Ночи» (1821). «Новелла „Смарра“, родившаяся в эстетическом споре с оппозицией о том, что романтизм и античное искусство словесности несовместимы, явилась примером того, что они вполне уживаются друг с другом»: Тамара Жужгина: Своеобразие фантастики в новелле Ш. Нодье «Смарра»: <https://proza.ru/2021/01/06/1471>

тому. — Это фразы, случайно стреляющие в шляпу. Истинное произведение написано Шарантоном⁵⁸.

— Вы глупец!

— Вы смешны!

— О! О!

— Ах! ах!

— Они дерутся.

— Нет.

— До завтра, мосье.

— Один момент! — ответил Натан.

— Пойдемте, пойдемте, вы двое уже хороши.

— В этом вы другой, — сказал провокатор.

— Они просто не могут подняться.

— Ах, может быть, я не держусь прямо, — воинственно возразил Натан, поднявшийся, как нерешительный воздушный змей.

Он бросил на стол ошалелый взгляд, потом, как будто изнуренный этим усилием, он рухнул в свое кресло, склонил голову и оставался молчалив.

— Не будет ли это приятно, — сказал судья своему соседу, — сразиться со мной ради произведения, которого я никогда не видел и не читал?

— Эмиль, следи за своей одеждой, твой сосед побледнел, — предупредил Биксиу.

⁵⁸ Имеется в виду маркиз де Сад, находившийся в психиатрической лечебнице в Шарантоне и писавший там литературные произведения.

— Кант, мосье. Еще один мячик, брошенный, чтобы развеселить глупцов! Материализм и спиритуализм — две красивые ракетки, которыми шарлатаны в платье гоняют один и тот же волан. Что Бог будет во всем, по мысли Спинозы, или все от Бога приходит, в соответствие с мыслью святого Павла. Дураки! Открыть или закрыть дверь — не есть ли это одно и то же движение? Яйцо родится от курицы или курица из яйца? (Передайте мне утку!) Вот и вся наука.

— Несмышлениш! — воскликнул ему ученый. — вопрос, поставленный тобой, решается фактом.

— И каким?

— Кафедры профессоров были сделаны для философов, но хороша ли философия для кафедр? Возьмите очки и читайте бюджет.

— Вору!

— Дураки!

— Прощелыги!

— Простофили!

— Где вы найдете другое такое же место, как Париж, где можно так живо, так скоро переброситься мыслями, — воскликнул Биксиу, самый одухотворенный из художников, взявший голосом самую низкую ноту.

— Пойдемте, Биксиу, создайте нам какой-нибудь классический фарс! Увидим содержание!

— Хотите, чтобы я показал что-то из девятнадцатого века?

— Послушайте

— Молчание.

— Наденьте сурдины на ваши инструменты.

— Замолчи ты, китаец!

— Дайте ему вина, чтобы он замолчал, этот ребенок.

— Тебе, Биксиу.

Художник застегнул свой черный плащ на все пуговицы до самой шеи, надел желтые перчатки и сделал гримасу таким образом, чтобы спеть «Мир», но шум покрывал его голос, и было невозможно ухватить ни слова этой шутки. Если он не сможет представить век, по крайней мере, он сможет представить газету, так как он не слышит даже себя самого.

Сервировка десерта очаровывала. Стол был накрыт преимущественно золотой бронзой, вышедшей из мастерской Тамира. Высокие чаши талантливых современных художников, чьи формы соответствовали в Европе образцам идеальной красоты, поддерживали и несли кустики клубники, ананаса, свежие дары желтого винограда, белых слив, апельсинов, привезенных кораблями из Сетубала, гранаты, фрукты Китая, наконец, все сюрпризы роскоши, новоиспеченные чудеса, самые лакомые деликатесы, самые соблазнительные лакомства. Цвета этого гастрономического стола были усилены сиянием фарфора, линиями яркого золота, резными краями ваз.

Приятный, как жидкая полоса Океана, свежий, легкий мусс короновал пейзажи Пуссена, сэврские копии. Бюдже-

та немецкого принца не хватило бы, чтобы расплатиться за все это заносчивое богатство. Серебро, перламутр, золото, хрусталь встречались в новых формах; но глаза ошеломляла многоречивая лихорадка пьянства, едва позволявшая гостям туманное представление об этой феерии, достойной восточной сказки. Десертные вина несли свои запахи и пламя, властные фильтры и чарующие испарения создавали разновидность интеллектуального миража, чьи властные оковы сковывали ноги, отяжеляли руки. Пирамиды из фруктов были расхищены, голоса гремели, шум нарастал. И не было там больше отдельных слов; бокалы летали, сияя, ужасный смех звучал, как вспышки. Курси схватил рог и принялся трубить фанфары. Это выглядело как сигнал, данный дьяволу. Это сборище в пьяном бреду кричало, свистело, пело, бранилось, рывкало, грохотало. Вы улыбнулись бы, увидев людей настолько веселых, ставших суровыми, подобно концовкам пьес Кребийона⁵⁹, или мечтательными, подобно морякам в карете. Проницательные люди рассказывали о своих секретах любопытным, но те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщица, закончившая свои пируэты. Клод Виньон⁶⁰ раскачивался наподобие медведя в клетке. Близкие друзья дрались.

⁵⁹ Проспер Жюлио Кребийон (отец) — французский драматург 18 века. Его сын Клод — автор романа «Заблуждения сердца и ума», о воспитании чувств молодого человека. В начале своего творчества начинал со сказок.

⁶⁰ Бальзак ввел в роман имя французского живописца семнадцатого века Клода Виньона, придворного живописца Людовика XIII, современника Пуссена.

Сходство с животными, нанесенное на человеческие лица, так курьезно показанное физиологами, снова туманно появлялось в жестах, в привычках тела.

Это была книга, созданная для какого-то Биша⁶¹, который находился бы там холодным и трезвым. Хозяин дома чувствовал себя пьяным, не осмеливался подняться, но остановившейся гримасой приветствовал экстравагантности своих сотрапезников, пытаясь сохранить приличный и гостеприимный тон. На его широкое лицо, ставшее сине-красным, почти лиловым, было страшно смотреть, а его движение ассоциировались с качкой брига.

— Вы их убили? — спросил его Эмиль.

— Конфискация и печаль смерти ликвидированы с июльской революции, — ответил Тайефер, дрожа ресницами, полными остроумия и глупости.

— Но не видели ли вы их однажды во сне? — спросил Рафаэль.

— Есть срок давности, — говорит убийца, полный золота.

— И на его гробницу, — сардоническим тоном вскричал Эмиль, — работник кладбища нанесет: *«Прохожие, пролейте слезу в память о нем!»* О! — продолжил он, — я дам сто су математику, который покажет алгебраическим уравнением существование ада.

Он бросил монету в воздух, крикнув:

— Перед лицом Бога!

⁶¹ Мария Франсуа Ксавье Биша — французский анатом.

— Ни ищите, — сказал Рафаэль, ловя монету, — что скажем? Случай так приятен.

— Увы, — повторил Эмиль в тоне шутливой печали, — я не вижу, где поставить ногу между геометрией неверия и *Pater noster*⁶² папы Римского. — Ба! Выпьем. *Тринк*, я полагаю, оракул божественной бутылки, и используется для концовки в Пантагрюэле⁶³.

— Мы обязаны *Pater noster*, — нашим искусством, нашими памятниками, может быть, нашими науками, — ответил Рафаэль, — и более великим благом, нашим современным правительством, в котором обширное и плодотворное общество чудесно представлено пятьюстами интеллигентами, где оппозиционные силы, те или иные, нейтрализуются, позволяя всю власть ЦИВИЛИЗАЦИИ, гигантской королеве, замещающей КОРОЛЯ, этому древнему и ужасному лицу, типу ошибочной судьбы, творимой человеком между небом и им. В присутствии таких совершенных произведений, атеизм представляет собой скелет, который не порождает. Что ты на это скажешь?

— Я представляю потоки крови, пролитой католицизмом, — холодно сказал Эмиль. — Он взял наши вены и наши сердца, чтобы устроить подобие потопа. Но неважно! Всякий думающий человек обязан двигаться под знаменем Христа.

⁶² *Pater noster* — молитва «Отче наш...».

⁶³ Тринк — оракул Божественной Бутылки. Божественная бутылка ответила треском на вопрос Пантагрюэля о том, стоит ли ему жениться.

Он один посвящен триумфу духа над материей, он один поэтически пробуждает нас в переходном мире, отделяющем нас от Бога.

— Ты полагаешь? — спросил Рафаэль, бросив на него неопределенную улыбку пьяного. — Э-э, ладно, чтобы не компрометировали себя, поднимем тост: «*Diis ignotis!*»⁶⁴

И они опустошили их чаши науки, углекислого газа, ароматов, поэзии и неверия.

— Если эти мосье хотят пройти в гостиную, там их ждет кофе, — сказал метрдотель.

В этот момент почти все гости собрались внутри этого края наслаждений, где погасли огни духа, где тело, опьяненное своим тираном, сдалось опьяняющей игре свободы. Одни, пришедшие к апогею опьянения, оставались мрачными и мучительно были заняты тем, как схватить мысль, заявляющую им о ее собственном существовании; другие, ныряя в бред, создаваемый отяжелевшим пищеварением, отказывались двигаться. Бесстрашные ораторы произносили еще туманные слова, чей смысл ускользал даже от них самих. Несколько рефренов звучали как шум машины, требующей исполнить свою искусственную, бездушную жизнь. Молчание и шум странно спаривались. Все же, услышав звучный голос слуги, который, в отсутствие своего хозяина, объявил им о новых радостях, они поднялись, пришли в движение, увлеченные, поддерживая или неся одних или других. В те-

⁶⁴ За неизвестных богов! (лат.)

чение мгновения вся группа оставалась неподвижной и зачарованной на пороге комнаты. Чрезмерные наслаждения праздника бледнели перед щекотливым спектаклем, который Амфитрион предложил самым сладострастным их мыслям. Под сияющими свечами золотых люстр, вокруг стола, насыщенного позолоченным серебром, внезапно предстала перед одуревшими гостями группа женщин, чьи глаза блестели, как множество бриллиантов.

Богатыми были украшения, но еще большим богатством были эти ослепительные красоты, перед которыми меркли все чудеса этого дворца. Страстные глаза этих девушек, чарующие, как феи, имели больше живости, чем потоки света, сиявшие атласными отражениями драпировки, белизна мрамора, нежные выступы бронзы и изящество тканей. Сердце горело, видя контрасты их взволнованных причесок, их манер, всю разницу черт и характеров. Это был цветочный ряд, смешанный с рубинами, сапфирами, кораллами, опоясывающими снежную шею черным колье; с легкими шарфами, плывущими, как пламя маяка; с гордыми тюрбанами, со скромно провоцирующими туниками. Этот сераль предлагал соблазнения для всех глаз, вожделения для всех причуд. Поставленной для восхищения, казалось, была танцовщица без вуали под волнообразными складками кашемира. Там — прозрачная газовая ткань, здесь — очаровательный шелк, скрывавший или пробуждавший таинственные совершенства.

Маленькие узкие ножки говорили о любви, свежие и красные рты молчали. Хрупкие и приличные юные девушки, фиктивно-добродетельные, чьи прекрасные прически дышали невинной религиозностью, представляли перед взглядами как явления, чей вздох мог растворить. Были еще красивые аристократки, с гордым взглядом, но вялые, но хрупкие, худые, грациозные, склонявшие голову так, как будто они еще имели королевское покровительство быть купленными. Одна англичанка, с белым целомудренным воздушным лицом, спустившаяся с облаков Оссиана⁶⁵, напоминала ангела меланхолии, одно из угрызений совести, ускользающей от преступления. Парижанка, чья красота лежала в неопикуемой грации, гордая нарядом и умом, была вооружена всевластной слабостью; она, мягкая и настойчивая, спокойная, без сердца и без страсти, умела искусственно создать сокровища страсти, подделать интонации сердца, не отсутствующие в этой опасной ассамблее, где еще сияло итальянское спокойствие, в видимости и в сознательности своего счастья; богатые нормандки с великолепными формами, южные женщины с черными волосами и очень расставленными глазами. Вы могли бы говорить о красотах Версаля, собранных Лебелем⁶⁶, с раннего утра расставивших все свои ловушки, пришедших, как группа восточных рабов, пробужденных го-

⁶⁵ Оссиан — кельтский бард III века.

⁶⁶ Возможно, речь идет об Антуанне Лебеле, французском художнике 18 века. Специализировался на пейзажах и на портретной живописи.

лосом торговца, чтобы уплыть на заре. Они оставались запретными, стыдливými и толпились вокруг стола, как пчелы, гудящие внутри улья. Это боязливое смущение, одновременно упрек и кокетство, обвиняло и соблазняло. Было ли это непреднамеренной стыдливостью? Может быть, чувство, которое женщина никогда полностью не обнажает, приказывало им завернуться в плащ добродетели, чтобы придать больше очарования и пикантности изобилию порока. Так и конспирация, сплетенная старым Тайефером, кажется, была обязана не иметь успеха.

Эти мужчины «без уздечки» подчиняются сначала волшебной власти, для которой женщина — это инвестиция. Восхищенное бормотание резонировало как самая нежная музыка. Любовь не путешествие в компании пьяного товарища; вместо урагана страсти — гости, удивленные в момент слабости, отказались от себя ради наслаждения сладострастным экстазом. Благодаря постоянно доминировавшему голосу поэзии, художники с радостью изучали изысканные тонкости, отличавшие этих избранных. Пробужденный мыслью, обязанной, может быть, каким-то эманациям углекислоты, освобожденной вином Шампани, философ дрожит, размышляя о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных самых чистых наград. Каждая из них, без сомнения, пережила кровавую драму, о которой могла бы рассказать; они тянули за собой людей без веры; обещания нарушались, радости требовали выкупа страданием. Гости с веж-

ливостью приблизились к ним, и начались разговоры, такие же разные, как их характеры.

Формировались группы. Вы могли бы сказать о добром салоне с хорошей компанией, где юные девушки и женщины предлагают гостям после ужина заботу в виде кофе, ликера и сахара, собираясь способствовать у смущенных гурманов работе непокорного пищеварения.

Но сразу несколько взрывов смеха, нарастает бормотание, голоса поднимаются. Оргия, на мгновение укрощенная, через интервал собирается пробудиться. Эта альтернатива молчанию и шуму приносила волну, напоминавшую симфонию Бетховена.

Сидя на мягком диване, два друга, обернувшись, сначала увидели рядом с собой высокую, очень хорошо сложенную девушку, с превосходной осанкой, с физиономией достаточно нестандартной, но пронизательной, пылкой, захватывающей душу резкими контрастами. Ее черная прическа, похотливо кудрявая, кажется, уже прошла любовное сражение и легкими хлопьями падала на широкие плечи, предлагавшие зрелищные перспективы взгляду; широкие коричневые кольца волос наполовину прикрывали волшебную шею, по которой интервалами скользил свет, пробуждая тонкость самых красивых контуров; ее кожа матовой белизны выдавала жаркие плотские тона этих живых цветов; глаз, вооруженный длинными ресницами, являл смелое пламя, сияние любви; рот, красный, влажный, полуоткрытый, звал к поцелую;

она имела сильную, но любовно гибкую талию; ее грудь, ее руки были широко развиты, как у прекрасных фигур Карраччи⁶⁷. Все же она казалась легкой, гибкой, ее крепость предполагала ловкость пантеры, как мужественная элегантность форм обещала пожирающее сладострастие. Хотя эта девушка должна была уметь смеяться и резвиться, ее глаза и улыбка отпугивали мысль. Подобная предсказательницам, волнующим демоном, она скорее поражала, чем радовала. Все чувства проходили массой и молниями на ее подвижном лице. Может быть, она восхитила бы собой опытных мужчин, но молодой человек испугался бы ее.

Это была колоссальная статуя, упавшая с высоты какого-то греческого храма, великолепная на расстоянии, но грубая вблизи. Ее ошеломляющая красота все же пробуждала беспомощных, ее голос очаровывал глухих, ее взгляд возрождал старые кости. Эмиль туманно сравнил ее с трагедией Шекспира, с видом восхитительной арабески, где кричит радость, где присутствует какая-то дикая любовь, где волшебство грации и огонь счастья случаются в кровавом шуме гнева; это было чудовище, умеющее кусать и ласкать, смеяться, как демон, и плакать, как ангелы, импровизировать в

⁶⁷ Карраччи — Аннибале, Людовико, Агостино — три брата-художника, положившие начало стилю барокко в болонской живописи 17 века. Они основали собственную школу и способствовали развитию итальянского искусства, освобождению его от маньеризма. Акцентировали внимание на человечности сюжетов и ясной передаче священных сцен. Самым талантливым из трех братьев был Аннибале.

единственном объятии всех женских соблазнений, исключая вздохи меланхолии и очарованность скромностью добродетели; потом в один резкий момент рвутся полы одежд, разбита ее страсть, сломлен ее возлюбленный; наконец, разрушается она сама, как творение восставшего народа.

Одетая в платье из красного бархата, она беззаботно смяла ногой цветы, уже упавшие с голов ее спутниц, и презрительной рукой протянула двум друзьям серебряное блюдо. Гордая своей красотой и, может быть, гордая своими пороками, она показывала белую руку, которая живо выделялась из бархата. Она была словно образом человеческой радости, царицей удовольствия, рассеивающей собранные тремя поколениями сокровища, смеющейся над трупами, забавляющейся стариками, уничтожающей жемчуга и троны, превращающей молодых в стариков, и часто стариков — в юношей; радостью, позволенной только людям, уставшим от власти, потрепанным мыслью, или радостью для тех, для кого война становится игрушкой.

— Как тебя зовут? — спросил ее Рафаэль.

— Аквилина.

— О! О! Ты из «Венеция спасена»⁶⁸! — воскликнул Эмиль.

— Да, — ответила она. — Так же, как папы, берущие новые имена, поднявшись над людьми, я взяла новое имя, воз-

⁶⁸ Речь идет о картине художника Иоганна Цоффани «Спасенная Венеция», немецкого художника, работавшего в Англии.

несшись над всеми женщинами.

— Итак, ты, как патронесса благородного и ужасного заговорщика, который любит тебя и может умереть для тебя? — живо сказал Эмиль, разбуженный этим поэтичным явлением.

— Я его получила, — сказала она, — но гильотина была моим соперником. И я всегда включаю красный шифон в мои наряды, чтобы моя веселость не длилась слишком долго.

— О! Если бы вы позволили ей рассказать историю о четырех молодых людях Ля Рошель⁶⁹, она никогда не закончила бы. Итак, помолчи, Аквилина. Разве не у всех женщин есть любовник, о котором она плачет? Но не все, как ты, имеют счастье терять его на эшафоте.

— Я хотела бы лучше узнать свое счастье в канаве Кламара, чем в постели соперницы, — эти фразы произносились тихим и мелодичным голосом самой невинной, самой милой маленькой девушки, никогда не выходившей из очаровательной яичной скорлупы.

Она тихо подошла, показав нежное лицо, тонкую талию, восхитительные голубые глаза скромности, свежие и чистые виски. Простодушная наядя, ускользнувшая из своего источника, не была более робкой, более чистой и более наивной. Она выглядела шестнадцатилетней, не знающей зла, не ведающей о любви, о бурях жизни; такие приходят в церковь, наполненную ангелами, чтобы раньше времени получить «вы-

⁶⁹ Имеется в виду роман А. Дюма «Три мушкетера» и четыре его главных героя.

зов» в небо. Только в Париже встречались существа с чистым лицом, скрывавшие самую глубокую развращенность, с самыми изощренными пороками под самым нежным лбом, столь же нежным, как цветок маргаритки.

Обманутые сначала небесными обещаниями, написанными в пленительных чертах этой юной девушки, Эмиль и Рафаэль взяли кофе в чашках, предложенных Аквилиной, и принялись задавать ей вопросы. Она перестала меняться в глазах двух поэтов, по зловещей аллегории, не знаю, с какой человеческой жизнью ассоциировавшейся, в противовес жесткой и страстной экспрессии своей внушительной партнерши; вопреки портрету холодного тлена, жестокого сладострастия, это была девушка, достаточно легкомысленная для совершения преступления, достаточно сильная для смеха, разновидность бессердечного демона, наказывающего богатые и нежные души эмоциями, которыми он обделен; всегда находящая маску продажной любви, слезы для сопровождения своих жертв, вечернюю радость при чтении завещания. Поэт восхитился бы прекрасной Аквилиной; всему свету пришлось бы бежать за трогательной Евфразией; одна была душой порока, другая — пороком без души.

— Я очень хотел бы узнать у этого прекрасного существа, — сказал Эмиль, — иногда ты мечтаешь о будущем?

— Будущее, — ответила она, смеясь. — Что вы называете будущим? Почему я должна думать о том, что еще не существует? Я никогда не смотрю ни назад, ни вперед. Разве это

не слишком, что мне приходится заботиться обо всем разом? Кроме того, будущее, мы знаем, это больница.

— Как можешь ты предчувствовать больницу и не избегать в нее пойти?

— Неужели больница так страшна? — спросила ужасная Аквилина. — Если мы не жены, не матери, если старость наденет черные чулки и морщины на лоб и завянет все то, что есть в нас женского, и высохнет радость во взглядах наших друзей, в чем сможем мы тихо нуждаться? Тогда вы не увидите на нас наших украшений, кроме примитивной грязи, идущей на двух лапах, холодной, сухой, разложившейся, создающей шелест опавшей листвы. Самый красивый шифон станет нам рубищем; янтарь, веселивший будуар, примет запах смерти и скелета; если сердце окажется в этой грязи, вы будете все оскорблять его и не позволите даже воспоминание. Так мы в этот момент жизни станем в богатом особняке заботиться о собаках или в больнице сортировать больных, не будет ли наше существование точно таким же? Скрывать наше седые волосы под красно-синим клетчатым платком или под кружевами, мести улицы березовым веником или ступени Тюильри атласом, сидеть у золотого очага или греть в золе красный глиняный горшок, участвовать в забастовке на Гревской⁷⁰ площади, или пойти в оперу, какая в

⁷⁰ Нынешнее название площади — Отель-де-Виль. Ранее, в 19 веке, площадь была символом казней и забастовок. Когда-то на Гревской площади занимались торговыми делами, нанимали слуг и т. д.

этом разница?

— *Aquilina mia*⁷¹, никогда ты не была так права посреди своего отчаяния, — подхватила Эвфразия. — Да, кашемир, пергамент, ароматы, золото, шелка, роскошь — все то, что сияет, все это так пленяет юность! Одно только время может укротить наши безумства, но счастье нас оправдает. Вы смеетесь над тем, о чем я говорю, — воскликнула она, бросив злую улыбку двум друзьям. — Я ли не имела благоразумия? Мне больше нравится умирать от удовольствия, чем от болезней. У меня нет ни мании бесконечности, ни великого уважения к человеческому типу, видящему то, что есть Бог на самом деле! Дайте мне миллионы, и я съем их! Я не хочу хранить сантим до следующего года. Жить, чтобы улыбаться и царствовать, — такой приговор выстукивает мое сердце. Общество одобряет меня; не поддерживает ли оно без конца мое мотовство? Почему добрый Бог утром дает мне деньги, которое я трачу все вечера? Почему вы строите нам больницы? Поскольку Бог не поставил нас между добром и злом, чтобы мы выбрали, что нас изранит и что наскучит; я была бы очень глупой, если бы не веселилась.

— А другие? — спросил Эмиль.

— Другие? Ладно, они устроятся. Я больше люблю смеяться над их страданиями, чем плакать над собственными. Я бросаю вызов человеку, который станет причиной малейшей моей боли.

⁷¹ Моя Аквилина (итал.)

— Как ты страдала, раз так думаешь? — спросил Рафаэль.

— Я была брошена из-за наследства, я, — сказала она, принимая соблазнительную позу. — Однако я дни и ночи проводила в работе, чтобы накормить возлюбленного. Я больше не хочу быть простофилей, не хочу верить никаким улыбкам, ни обещаниям, я собираюсь сделать мое существование долгой игрой наслаждений.

— Но, — воскликнул Рафаэль, — разве не приходит счастье в душу?

— Э-э, ладно, — продолжила Аквилаина, — разве это не восхитительно? возможность праздновать триумф над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, сокрушать нашей красотой, нашим богатством? Кроме того, мы в один день проживаем больше, чем буржуазия в десять лет, и когда-нибудь все рассудится.

— Женщина без добродетели: не отвратительна ли? — сказал Эмиль Рафаэлю.

Евфразия метнула в них взгляд гадюки и ответила с неподражаемым оттенком иронии:

— Добродетель? Мы оставим ее уродливым и горбатым. Что они будут без нее, бедные женщины?

— Пойдем, замолчи и не говори о том, чего ты не знаешь, — возразил Эмиль.

— Ах, я ее не знаю! — ответила Евфразия. — Отдаться на всю жизнь ненавистному существу, вырастить детей, чтобы потом они бросили тебя, и сказать им «спасибо», когда они

разобьют твоё сердце, — вот добродетель, которую вы узакониваете для женщины. И ещё, чтобы вознаградить за самоотречение, вы навязываете ей страдание, пытаетесь соблазнить её; если она устоит, вы скомпрометируете её. Красивая жизнь! Надо оставаться совершенно свободной, любить тех, кто нам нравится и умереть молодыми.

— Не боишься ли ты однажды расплатиться за это?

— Э-э, ладно, вместо переплетения удовольствий с печалью, моя жизнь будет разделена на две половины: юность, конечно, радостна, и я не знаю, в течение какой неопределённой старости я буду безбедно страдать.

— Она не любила, — сказала своим глубоким голосом Аквилина. — Она никогда не проходила сто лье, для того чтобы сожрать с тысячью наслаждений взгляд или отказ; она ни на волос не связала свою жизнь, не пыталась зарезать нескольких мужчин, чтобы спасти своего владыку, своего господина, своего бога. Для неё любовь была красивым полковником.

— Ха-ха, *Ля-Рошель*, — ответила Евфразия, — любовь как ветер, мы не знаем, куда он подует. Кроме того, если ты влюбишься в настоящее чудовище, умных людей ты можешь привести в ужас.

— Закон запрещает нам любить чудовищ, — с иронией ответила великолепная Аквилина.

— Я уверена, что ты более снисходительна к военным, — смеясь, воскликнула Евфразия.

— Они счастливы, что могут уступить их аргументам, — ответил Рафаэль.

— Счастливые, — сказала Аквилина с мучительной, страдальческой улыбкой, бросив на двух друзей ужасный взгляд. — Ах, вы не знаете, что значит быть обреченной на наслаждение со смертью в сердце.

Созерцая в этот момент гостиные, можно было увидеть предвосхищение «Столпотворения» Мильтона⁷². Глубокое пламя пунша освещало inferнальными оттенками тех, кто еще мог пить. Безумные танцы, одушевленные дикой энергией, возбуждали смех и крики, раздававшиеся как вспышки искусственного огня. Покрытые мертвецки пьяными и погибшими, будуар и маленькая гостиная предлагали образ поля сражения. Атмосфера была разгорячена вином, удовольствиями и словами. Опынение, любовь, иступление, забвение мира были в сердцах, в лицах, написаны на коврах, выражены в беспорядке, брошены легкой вуалью на все взгляды, заставлявшие видеть в воздухе опьяняющие испарения. Это волновало, как на сияющих под лучом солнца полотнах блестящая пыль, сквозь которую играли самые причудливые формы, самые гротескные сражения. Здесь и там группы лиц обнимались со скульптурами, сливаясь с белым мрамором, с благородными шедеврами, украшавшими

⁷² Автор ссылается на книгу Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667), где говорится о вавилонском столпотворении в части 12. Милтон также написал «Возвращенный рай» (1671). Если «Потерянный рай» — о возмущении ангелов и падении человека, то «Возвращенный рай» — об искушении Иисуса Христа.

жилище. Хотя двое друзей еще сохранили какую-то трезвость в мыслях и в организмах, последнюю дрожь, несовершенный жизненный симулякр, было невозможно узнать, что реально в их странных фантазиях, в сверхъестественных картинах, бесконечно проходивших перед их утомленными взорами. Удушающее небо наших снов, пламенная мягкость, которую приобретают лица в наших видениях, в особенности, какая-то легкость меняет последовательность, наконец, самые непривычные феномены сна, напали на них так живо, что они принимали игру этого разврата за причуды кошмара, где движение бесшумно, где для слуха пропадают крики. В этот момент, надеясь, что преуспеет, вошел слуга, не без труда привлек хозяина в прихожую, и сказал тому на ухо:

— Мосье, все соседи — в окнах, они жалуются на шум.

— Если они так боятся шума, не могли бы они постелить соломы перед своими дверьми? — воскликнул Тайефер.

Рафаэль позволил себе засмеяться, и так внезапно и неуместно, что его друг попросил объяснить такую резкую радость.

— Ты с трудом понимаешь меня, — ответил он. — Прежде всего, я должен признаться тебе, что вы оставили меня на набережной Вольтер в тот момент, когда я хотел броситься в Сэну, и ты, без сомнения, хотел бы узнать мотивы моего самоубийства. Но, когда я добавлю, что возник почти волшебный случай, самые поэтичные руины материального мира явились и соединились в моих глазах с симво-

лическим переводом всей человеческой мудрости, тогда как в данный момент обломки всех интеллектуальных сокровищ так жестоко разграблены этими двумя женщинами, живыми и оригинальными образами безумства; и зачем наша глубокая беспечность к людям и вещам использует перевод в картины, сильно окрашенные диаметрально противоположными системами существования? Станешь ли ты более осведомленным? Если бы ты не был пьян, ты увидел бы здесь, может быть, философский трактат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.